

ВСЕЛЕННАЯ «СЛАВЯНСКОЕ ТРИМИРЬЕ»

КНИГА ПЕРВАЯ

**СКАЗАНИЯ
ЗАМЁРЗШЕГО
ЛУКОМОРЬЯ**

ДМИТРИЙ ВЕРЕСК

Дмитрий ВЕРЕСК

Сказание замершего Лукоморья

<https://litres.ru/74597837>

SelfPub; 2026

Аннотация

Путь Забавы и её спутников от первого бегства до сердца оставшегося людского мира — Светлогорада. С каждой книгой раскрывается не только сама героиня и природа того, что она носит в себе, но и истинный масштаб происходящего: кто на самом деле стоит за цепью бед, обрушившихся на мир, и какова настоящая цена, что придётся заплатить за его исцеление. Каждая книга — это одновременно приключение, разговор о цене выбора и постепенное собирание разрозненных нитей в единую картину, за которой скрывается тот, кто предпочитает оставаться в тени дольше всех прочих.

Дмитрий ВЕРЕСК
Сказание замершего
Лукоморья

Глава 1

Глава 1. Клетка для сирий

Солнце висело над Лукоморьем багровым, погасшим глазом — оно было на месте, как и полагается солнцу, но тепла в нём осталось не больше, чем в чужой монете. Дажьбог забрал колесницу давно, и с тех пор светило просто стояло на небе по привычке, как стоит на пепелище печь, из которой десять лет как вынесли огонь.

Под ним лежала Явь — не мёртвая ещё, но уже и не совсем живая: снег, что не таял с прошлой осени, реки, вставшие подо льдом там, где раньше торговый люд гонял плоты, леса, которые роняли листву не по сроку, а будто устав ждать тепла, что так и не пришло. Кто-то однажды сказал бы, что в этом есть своя красота — в том смысле, в каком красивы кладбища поздней осенью. Никто давно не говорил этого вслух: слишком уж холодно было для лирики, а те, кто ещё помнил слова для красоты, давно предпочли им слова для выживания.

Ближе к сердцу Чернолесья, там, где деревья стояли особенно плотно, будто до сих пор пытались загородить собой что-то важное, из земли поднималась обитель волхвов. Стены её не были сложены из камня — они выросли, много поколений назад, из живых некогда дубов, чьи стволы сплели и сросли в подобие сводов, а корни ушли так глубоко в поч-

ву, что образовали залы под землёй прежде, чем кто-то додумался вырыть их лопатой. Резьба на стенах — солнца, птицы, спирали — когда-то славилась ту самую природу, именем которой волхвы теперь клялись, водя ножами по чужой коже.

В одной из верхних зал этой мёртвой рощи, там, куда через узкие бойницы всё же проникал скудный дневной свет, стоял человек, ожидавший вызова с той выправкой, что вырабатывается не молитвой, а годами строя.

Лютобор не любил ждать. Не потому что был нетерпелив — нетерпение было роскошью для тех, кто мог себе позволить не рассчитывать каждую минуту дня, — а потому что ожидание оставляло слишком много места для мыслей, которые он давно научился не подпускать ближе определённой черты. У него была для этого своя система, отработанная годами: считать шаги караульных за дверью, считать трещины в бойнице, считать что угодно, лишь бы не считать то единственное число, которое всегда оказывалось на дне любой тишины длиннее нескольких вдохов, — число людей, вышедших с ним на лёд, и число тех, кто с него вернулся.

Сегодня система не срабатывала. Слишком уж день был не похож на обычные.

— Ты звал меня, — сказал он, когда дверь наконец отворилась и в проёме показался Кручин — старший из волхвов, тот, чьё слово в этих стенах стояло выше любого другого, кроме, быть может, самих богов, если бы боги всё ещё считали нужным здесь появляться.

— Звал, — подтвердил Кручин, жестом приглашая его войти. Голос старика был сухим, лишённым той дрожи, что звенела в голосах младших служителей этим утром — все они знали, какой сегодня день, и все, кроме, кажется, самого Кручина, боялись его. — Сегодня мы завершаем то, что начали много лет назад с девчонкой-птицей.

Лютобор молча ждал продолжения. Он давно усвоил, что Кручин не любит, когда его торопят вопросами, — предпочитает выкладывать мысль целиком, неспешно, как выкладывают на стол карты в игре, исход которой уже решён заранее. За те годы, что Лютобор служил обителю, он успел изучить эту манеру до последней чёточки: старик никогда не лгал напрямую — просто раскладывал правду так, чтобы она сама подводила слушателя к нужному выводу, оставляя ему иллюзию, будто вывод этот он сделал сам.

— Ритуал должен пройти чисто, — продолжал старик, подходя к узкой бойнице и глядя на багровое небо с тем безразличием, с каким смотрят на нечто, давно переставшее удивлять. — Но чистых ритуалов в моей жизни было ровно два, Лютобор. Оба — не сегодняшний.

— Ты ожидаешь, что она вырвется.

— Я ожидаю, — сказал Кручин, оборачиваясь, и в этом движении была та же неспешность, что и в голосе, — что двоедушница, в которой годами спала ярость, о которой мы можем только догадываться,отреагирует не так, как нам бы хотелось, в момент, когда эта ярость наконец получит повод

проснуться. Я немолод, но не глуп. Готовься к тому, что план сорвётся, и тогда провал не будет провалом — будет просто вторым планом, о котором знаешь только ты.

— Что от меня требуется?

— Если она вырвется — а Око останется с ней, в чём я почти уверен, — твоя задача простая, — Кручин говорил теперь тише, будто самым тоном хотел подчеркнуть, насколько простой на самом деле была задача, несмотря на всё, что она в себе несла. — Верни её. Живой, если получится. Верни Око, если не получится вернуть её. Не дай ей уйти дальше границы Чернолесья — там, за деревьями, начинается мир, который не простит нам второй попытки.

Лютобор кивнул — коротко, по-военному, тем движением, что не оставляло места сомнению, даже если сомнение внутри и находило себе место. Он давно научился делать так, чтобы одно не противоречило другому: тело могло быть уверенным, пока голова оставалась свободна взвешивать всё заново, раз за разом, не показывая этого никому, даже самому себе.

— Ты понимаешь, зачем я поручаю это тебе, а не кому-то из младших воинов храма? — спросил Кручин, и в вопросе впервые прозвучало нечто похожее на человеческое любопытство, не только приказ.

— Потому что я не задаю лишних вопросов.

— Отчасти. — Старик слабо улыбнулся — сухими, почти безгубыми губами. — Но главным образом потому, что ты

единственный из моих людей, кто по-настоящему понимает цену провала. Твоя дружина заплатила эту цену однажды. Я не сомневаюсь, что ты не позволишь себе заплатить её снова.

Лютобор ничего не ответил. Внутри, там, где годами жила отточенная, почти безупречная логика его собственных решений, что-то тронулось — едва заметно, как трогается лёд под тяжестью первого шага, — но лицо его осталось таким же ровным, каким было всегда, когда речь заходила о дружине, которую он больше не позволял себе оплакивать вслух.

Он помнил тот лёд лучше, чем помнил собственное детство. Помнил, как принял решение — единственно верное, единственно возможное в тех обстоятельствах, — отвести людей от прямого столкновения с тем, что ждало их на другом берегу, и обойти его севернее, где лёд, как ему доложили разведчики, держал крепче. Доклад оказался неверным. Или, может быть, верным, но опоздавшим на день. Он так и не узнал наверняка, потому что узнавать было уже некому: из полусотни, ушедшей с ним на тот манёвр, вернулся один. Он сам.

Годами после этого он искал в собственном решении трещину — ту самую ошибку, за которую можно было бы держаться, чтобы объяснить случившееся не капризом судьбы, а собственной виной, которую хотя бы можно было бы искупить. Не находил. Решение было правильным — так он себе говорил каждый вечер, так говорил себе и сейчас, стоя в этой зале перед человеком, который умел бить точнее любо-

го клинка, просто произнося вслух то, что Лютобор годами предпочитал не произносить даже про себя.

— Я не подведу, — сказал он.

— Знаю, — ответил Кручин, снова отворачиваясь к бойнице, будто разговор уже исчерпал себя. — Именно поэтому ты стоишь здесь, а не кто-либо другой. Ступай. Собери людей. Ритуал начнётся с заходом того, что мы всё ещё по привычке зовём солнцем.

Лютобор вышел из залы так же ровно, как вошёл, — и только оказавшись в коридоре, за плотно закрытой дверью, позволил себе на мгновение остановиться, опершись ладонью о холодную, поросшую мхом кладку стены.

Твоя дружина заплатила эту цену однажды.

Слова Кручина не были жестокостью — старик никогда не тратил времени на жестокость ради самой жестокости, это Лютобор знал точно. Это было напоминание, холодное и точное, как удар клинка плашмя: не забывай, чего тебе стоило оказаться здесь. Не забывай, ради чего ты выбрал более правильный путь, чем тот, что привёл твою дружину на лёд, с которого не вернулся никто, кроме тебя самого.

Я не подведу, — повторил он мысленно, уже другим тоном, не для Кручина, а для себя самого, и в этом повторении было куда больше уверенности, чем имело право быть у человека, готовящегося охотиться на существо, чьей истинной силы не понимал до конца никто в этих стенах.

Он выпрямился, ещё раз прошёлся ладонью по холодному

камню — жест, который никто из его людей никогда не видел и не должен был увидеть, — и зашагал вниз, туда, где его ждали четверо, отобранные лично, каждый проверенный не единожды, чтобы отдать приказ, который сам для себя уже давно перестал звучать как охота на беглянку.

Для него это звучало как последний шанс доказать — не Кручину, не волхам, а самому себе, — что решение, стоившее ему всей прежней жизни, было правильным. Что лёд не разверзся под его людьми оттого, что он ошибся, а оттого, что мир к тому дню уже был устроен так, что кто-то должен был заплатить, и лучше было заплатить чужими жизнями за спасённые немногие, чем не заплатить вовсе.

Он в это верил. Почти всегда верил. И только в такие редкие минуты, оставшись один в холодном коридоре чужой обители, позволял себе на один вдох усомниться — прежде чем снова запереть сомнение туда, где ему полагалось оставаться: глубоко, под ровным лицом воеводы, которому больше нечего было терять, кроме собственной правоты.

В это время в самом глубоком месте святилища своей участи ждала Забава.

Прутья пахли железом и чужим страхом — не её, что интересно. Своим она уже надышалась досыта, а вот их страх был свежий, острый, будто кто-то только что забыл здесь блюдо с несвежей рыбой.

Забава давно перестала считать дни по свету — тут был один и тот же серый ломоть, процеженный сквозь щель в по-

толке, будто Явь сама подглядывала в щёлку и тут же прикрывала глаза: неприлично. Считала по другому. По тому, сколько раз старший из волхвов забывал запереть внутреннюю щеколду. Три раза за три месяца. Не побег. Просто факт, который грел не хуже одеяла.

Камень под ней был тем же, каким был всегда, — гладким там, где долгие годы об него тёрлись чужие колени, шершавым у краёв, где вода, просачиваясь сквозь трещины в своде, оставила известковые наросты, похожие на застывшие слёзы. Она знала этот камень на ощупь лучше, чем когда-то знала собственный дом — впрочем, о доме она в последнее время старалась не думать вовсе: память о нём стала слишком похожа на роскошь, которую нельзя себе позволить, не разрывшись потом до утра.

Три месяца — не такой уж большой срок, если считать его извне, глазами человека, у которого есть куда идти после заката. Изнутри, между четырёх прутьев и одного упрямого пятна света, он растягивался в нечто, для чего у неё уже не осталось подходящей меры. Она помнила себя другой — не лучше, не хуже, просто другой, той, что не умела с точностью до вдоха определить, сколько времени пройдёт, прежде чем принесут воду, и не знала на ощупь разницу между шагами волхва, несущего еду, и волхва, несущего нож.

— Опять забыл, — произнёс голос внутри — не ушами, костью, глухо и низко, будто где-то под рёбрами кто-то с усилием провёл смычком по струне, слишком толстой для

обычной музыки. — Пятый раз за три месяца. Ты считаешь неправильно.

Три, — ответила она внутрь себя, не размыкая губ. *Я считаю то, что можно проверить. А не то, что ты помнишь по-своему.*

— Я помню всё, — сказал Сирин с той сухой, безрадостной насмешкой, что копится в существе, которому некуда девать время, кроме как ждать. — В отличие от тебя, мне не нужно считать пылинки, чтобы не сойти с ума.

У тебя свой способ. У меня свой.

— Мой способ старше твоего на добрую тысячу лет. Уважай возраст, дитя.

Ты никогда не называл себя стариком раньше.

— Раньше у нас было меньше времени на разговоры. Раньше нас чаще резали.

Она поморщилась — не от боли, боль давно перестала быть острой, скорее осела где-то на дне, как гуща на дне кружки, которую забыли вымыть, — а от того, как буднично это было сказано. Три полосы на спине, между лопаток, стянутые, белёсые, будто кто-то трижды расписывался на ней раскалённой нитью и один раз даже забыл поставить дату. Первый раз она плакала три дня. Второй — только ночь. К третьему уже не осталось слёз, которые можно было бы потратить на что-то настолько предсказуемое.

Она помнила каждый из этих трёх раз в подробностях, которые сама бы предпочла забыть: холод стола, к которо-

му её привязывали не грубо, а именно что деловито, будто мясник укладывает тушу привычным, отработанным движением; голос старшего волхва, произносившего слова ритуала нараспев, без злобы, почти без интереса, как читают надоевшую молитву; и, хуже всего, — то короткое, почти дружеское объяснение, которым её награждали перед каждым разом, будто вежливость могла что-то исправить. *Это не наказание, дитя. Это необходимость.* Она так и не решила, что было хуже — боль или та подчёркнутая забота, с которой её причиняли.

— Расскажи мне про них, — попросила она вдруг, сама не зная, зачем — может быть, чтобы отвлечься от медленного, тягучего ожидания, которое, она чувствовала кожей, не могло продолжаться уже долго. — Про первые.

Сирин долго молчал — так долго, что она успела различить в тишине звук капли где-то наверху, редкий, ленивый, будто вода точно знала, что переживёт их всех.

— Не сегодня, — сказал он наконец, и в этой краткости было что-то, чего она не слышала у него раньше — не отказ, а что-то похожее на бережность, неуклюжую, непривычную для существа, привыкшего к иронии как к единственному доступному языку. — Сегодня и без того будет достаточно того, что придётся вспоминать после.

Ты знаешь что-то, чего не знаю я.

— Я знаю многое, чего не знаешь ты. Вопрос в том, какая часть из этого пригодится сегодня, а какая только напугает

раньше срока.

Крыло — не крыло ещё, только тень его, только память о весе под лопатками — качнулось один раз и затихло. Так бывало каждый день, в одно и то же время, будто и оно тоже умело считать часы лучше, чем она сама. Забава давно перестала пугаться этого ощущения — чего-то огромного, свёрнутого внутри неё в комок, слишком большой для её собственного тела, — но так и не привыкла к нему до конца, как не привыкают к присутствию в комнате чужого, слишком тяжёлого дыхания даже после многих ночей, проведённых бок о бок.

Она подтянула колени к груди, вдавила лопатки в холодный прут — привычным, почти уютным движением, каким прижимаются к единственной опоре, оставшейся в мире, — и позволила себе на мгновение закрыть глаза, вслушиваясь в тот самый низкий гул, что временами доносился из-под земли, из-под самого основания обители.

Сегодня он громче, чем обычно.

— Замечаю, — коротко ответил Сирин. — Занятно, что ты тоже.

Что это?

— Не знаю наверняка. Знаю, что оно ждёт так же долго, как и мы с тобой. Может, дольше.

Она попыталась представить себе, что это может быть за существо, способное ждать дольше, чем ждёт нечто, живущее у неё под рёбрами уже — сколько? Она не знала, сколько

на самом деле, знала только, что дольше, чем она сама живёт на свете, и мысль эта, привычная уже, всё равно каждый раз отдавалась где-то в животе холодной, неуютной пустотой.

Где-то наверху скрипнула ступень — не первая за это утро, но первая, прозвучавшая с той особой тяжестью, что выдаёт не праздный обход, а целенаправленное движение к конкретной двери.

— Идут, — тихо сказал Сирин, и в голосе его впервые за долгое время не было ни капли насмешки — только насто-роженность, глубокая, почти звериная.

Знаю.

— Ты не знаешь и половины того, что должна была бы знать перед этим днём. Но, полагаю, узнавать уже поздно.

Забава открыла глаза и уставилась на дверь клетки — привычную, окованную, ту самую, что за три месяца выучила скрипеть на три разных голоса в зависимости от того, кто и зачем её открывал. Сегодняшний скрип, она знала это ещё до того, как ключ провернулся в замке, будет четвёртым — новым, ещё не слышанным, — и от этого знания где-то под рёбрами, рядом с тем местом, где веками ждал Сирин, свернулся в тугой узел собственный, человеческий, ничем не приправленный страх.

Шаги остановились у решётки.

— Опять забыл, — произнёс голос внутри снова, будто повторяя старую шутку, чтобы отвлечь их обоих от того, что происходило за прутьями. — Пятый раз за три месяца. Ты

считаешь неправильно.

Она не подняла глаз — смотрела на пятно света на полу, узкое, дрожащее, единственное живое существо в этой комнате, кроме неё самой.

Не думай про руки. Думай про пылинку.

— Пылинка, — повторил Сирина с холодным весельем, хотя в этом веселье теперь звучала едва слышная трещина. — У неё, по крайней мере, есть план на день. Упасть.

Скрип ключа. Она знала этот звук наизусть — короткий, с надрывом на третьей четверти оборота, будто и замок не в восторге от происходящего.

— Встань, двоедушница, — сказал голос снаружи. Молодой, из тех младших, что вечно держались в двух шагах позади старших, будто расстояние могло их защитить. Он не знал её имени — или знал, но предпочитал не пользоваться им, как не пользуются именем вещи. В голосе было что-то, чего раньше не водилось: то ли спешка, то ли страх, наспех перешитый в приказ.

Она не встала. Вместо этого послушала.

Где-то наверху капало — лениво, без спешки. Дальше, за капелью — гул. Не голос, не ветер. Что-то, что шло из-под земли и отдавалось в зубах, если прижаться челюстью к прутьям, как она делала ночами, когда сон не шёл.

— Слышишь это? — спросил Сирина, и впервые за долгое время в его тоне не было насмешки. — Это не гул земли. Это Око. Оно сегодня громче обычного.

Знаю.

— Оно знает, что сегодня иначе. Может, знает лучше нас с тобой.

— Забава.

Её имя в чужом рту прозвучало так, будто говоривший надел кафтан не по размеру. Она подняла глаза — впервые за всё время, что он стоял здесь — и внутри что-то дрогнуло. Не страх: страх был старым жильцом, платил за комнату исправно уже не первый месяц. Это было другое — что-то похожее на узнавание собственного имени, произнесённого чужим, неумелым голосом, будто её саму пытались примерить на кого-то другого.

— Вот теперь я согласен, — тихо сказал Сирина. — Не сегодня. Но, кажется, нас не спросят.

Волхв присел на корточки, чтобы быть с ней вровень, и стало хуже — не когда сверху вниз, а вот так, глаза в глаза. Она разглядела его лицо ближе, чем позволяла себе прежде: совсем молодое, с той нездоровой бледностью, что бывает у людей, слишком долго живущих без солнца, и с глазами, которые старались смотреть твёрдо, но то и дело соскальзывали куда-то в сторону, будто прямой взгляд на неё стоил ему усилия, которое он не готов был признать вслух.

— Сегодня в последний раз, — сказал он, и голос дрогнул на слове «последний» так неубедительно, что ей на миг стало почти смешно. Не для неё в последний. Для него самого — вот кто здесь по-настоящему боялся.

Гул под землёй стал громче. Или это была не земля.

Она сжала кулаки так, что ногти прошли сквозь кожу ладоней — не больно, только остро, только настоящее.

— Тихо, — сказала она внутрь себя, туда, где ждал Сирин.
— Дай хоть в дверь войти по-человечески.

— Как скажешь, — ответил он. — Но дверь — это ненадолго.

Она поднялась на ноги — медленно, тело затекло сильнее, чем она хотела бы признать, — и, пока волхв отступал на шаг, давая ей пройти, успела в последний раз оглядеть клетку, которая три месяца была всем её миром: камень, прутья, узкую полосу света, — и подумала, вопреки всему происходящему, с почти нелепой ясностью: *если я больше не увижу этого места, я не буду по нему скучать. Хоть что-то хорошее сегодня.*

Первуша не помнил, когда в последний раз спал дольше двух-трёх часов кряду. С той ночи, как Кручин объявил да-ту — «Ритуал совершится, когда солнце пройдёт седьмой круг после того, как двоедушница перестанет считать дни», — сон в обители стал редкой роскошью, которую позволяли себе разве что старшие, привыкшие спать вполглаза даже во сне.

Он стоял сейчас в узком проходе, ведущем к главному залу, держа в руках светильник, масло в котором уже подёрнулось лёгкой рябью от того, как дрожали его собственные пальцы. Рядом, привалившись плечом к стене, Ставр делов-

вито протирал рукоятью одного из серебряных ножей о рукав — не потому что нож в этом нуждался, а потому что руки требовали занятия, способного отвлечь от того, что предстояло сделать этими же руками через несколько часов.

— Хватит тереть, — тихо сказал Первуша. — Он и так чище всего, что есть в этих стенах.

— Занят руками — не занят головой, — не оборачиваясь, ответил Ставр. Голос у него был ровный, отработанный годами службы, но Первуша знал его достаточно давно, чтобы различить в этой ровности лишнюю нотку — ту, что появлялась у Ставра всегда, когда он готовился сделать что-то, во что сам не до конца верил.

— Ты когда-нибудь думал, — начал Первуша осторожно, оглядываясь, не идёт ли кто по коридору, — что если бы Ритуал работал так, как нам говорят, мы бы уже трижды вернули солнце?

Ставр застыл на мгновение, потом медленно убрал нож за пояс.

— Учитель говорит, что предыдущие разы были неполными. Недостаточно чистыми.

— Учитель всегда так говорит, — сказал Первуша, и в этих словах прозвучало больше горечи, чем он рассчитывал вложить. — После первого раза. После второго. Скажет ли он так же и после третьего, хотел бы я знать, или наконец признает, что дело не в чистоте ритуала, а в том, что сам ритуал — ошибка?

— Тише, — резко оборвал его Ставр, и в этом «тише» была не столько злость, сколько настоящий, неподдельный испуг. — Такие слова здесь не для коридоров. Здесь у стен есть уши, а у ушей — языки, которые доносят учителю быстрее, чем ты успеешь договорить.

Первуша замолчал, но мысль, однажды выпущенная наружу, не желала возвращаться обратно так же легко, как вышла. Он смотрел на пламя в своём светильнике — маленькое, дрожащее, послушное каждому сквозняку, — и думал о том, что три года назад, когда его, четырнадцатилетнего, привели в эти стены родители, свято верившие, что отдадут сына в руки праведных людей, служащих старым богам, он представлял себе служение совсем иначе. Не ножами. Не кровью девочки, чей крик он слышал из-за двери её камеры почти каждую ночь первый месяц, пока не научился — как научились все остальные — попросту не слышать.

— Ты боишься её, — сказал он вдруг, глядя на Ставра. — Не Ритуала. Её саму.

Ставр посмотрел на него долгим, тяжёлым взглядом, в котором на миг мелькнуло что-то, очень похожее на признание.

— Боюсь, — сказал он наконец, тихо, будто выдавливая слово через силу. — Три раза мы делали это с ней. Три раза она молчала, терпела, не давала повода бояться ничего, кроме собственной совести. А теперь учитель сам говорит, что сегодня будет иначе. Если даже он этого боится...

Он не договорил. Не нужно было договаривать.

Где-то дальше по коридору, в глубине святилища, слышались шаги — размеренные, тяжёлые, безошибочно узнаваемые: поступь самого Кручина, привыкшая не спешить никогда, ни при каких обстоятельствах, будто спешка была уделом тех, кто ещё не уверен в исходе. Оба служителя мгновенно выпрямились, приняв вид почтительного, ничем не омрачённого усердия — искусство, отточенное годами до полной автоматичности, не требующей уже даже сознательного усилия.

— Всё готово? — спросил Кручин, появляясь из-за поворота. Взгляд его, острый, изучающий, скользнул по обоим служителям, задерживаясь на светильниках, на ножах за поясом Ставра, будто он одним взглядом мог оценить готовность каждой мелочи лучше, чем самой длинной проверкой.

— Готово, учитель, — ответил Ставр, и голос его не выдал ни капли того, что звучало в нём мгновением раньше.

— Хорошо, — Кручин кивнул, но взгляд его задержался на Первуше на секунду дольше обычного, будто старик что-то почувствовал — не услышал, не узнал напрямую, а именно почувствовал, тем особым чутьём, что развивается у людей, десятилетиями наблюдающих за чужими лицами в поисках трещин. — Первуша. Ты бледен.

— Не спал, учитель, — сказал Первуша, стараясь, чтобы голос звучал ровно. — Готовился.

— Хорошая подготовка требует хорошего сна, — заметил Кручин, но не стал развивать мысль дальше, лишь ещё мгно-

вание задержал взгляд, прежде чем отвернуться. — Идёмте. Время скоро.

Он зашагал дальше, к главному залу, и оба служителя поспешили следом — не потому что хотели, а потому что тело за годы службы выучило подчиняться раньше, чем разум успевал возразить.

— Учитель, — вдруг заговорил Первуша, сам не ожидая от себя такой смелости, — а если она снова...

— Не снова, — оборвал его Кручин, не оборачиваясь, и в этой резкости было что-то окончательное, не оставляющее места дальнейшим вопросам. — В прошлые разы мы не были готовы. Сегодня готовы.

Ставр, шедший чуть позади, позволил себе едва заметную усмешку — быструю, горькую, тут же спрятанную за привычной маской послушания.

— Готовы, — тихо повторил он, почти неслышно, обращаясь не столько к Кручину, сколько к самому себе, и Первуша, расслышав эту интонацию, почувствовал, как внутри у него что-то холодно сжалось: если даже Ставр, всегда самый послушный, самый верный из всех младших, позволяет себе такую иронию — значит, страх пророс глубже, чем Первуша готов был признать до этой минуты.

Они вошли в главный зал следом за Кручином, и Первуша, окидывая взглядом уже расставленные по кругу чаши, тёмную медь, тускло блестящую в свете лампад, поймал себя на мысли, от которой стало трудно дышать: что бы ни слу-

чилось сегодня — с ней, с ними, с самим Ритуалом, — он больше не был уверен, что хочет, чтобы всё прошло так, как задумано.

Он тут же испугался этой мысли сильнее, чем боялся всего остального, вместе взятого, и постарался спрятать её так глубоко, как только умел, — туда же, куда годами прятал всё, что не полагалось чувствовать служителю обители.

Путь наверх оказался длиннее, чем она помнила — или просто ноги отвыкли куда-то идти дальше собственной клетки. Волхв держал её за локоть не грубо, скорее опасливо, как держат чужую собаку, о которой слышали дурное, но своими глазами кусаться не видели.

— Он боится тебя больше, чем ты его, — заметил Сирина почти лениво. — Занятно, что из нас двоих трясётся конвоир.

Не он один.

— Я не трясусь. Я жду.

Есть разница?

— Огромная. Дрожь — это когда тело решает за тебя. Ожидание — это когда решаешь ты. Постарайся не путать эти два состояния в ближайшее время. От этого может зависеть многое.

Забава молча кивнула сама себе — не столько соглашаясь, сколько принимая это к сведению, как принимала любой совет Сирина в последние месяцы: без слепого доверия, но и без права его игнорировать. Ноги её, отвыкшие от дол-

гой ходьбы, гудели с каждым шагом сильнее, но она не позволяла себе сбиться с ровного, будто равнодушного темпа — показать слабость сейчас означало отдать волхву единственное преимущество, которое у неё, возможно, ещё оставалось: неизвестность того, чего от неё ждать.

Стены здесь были другими — не голым камнем клетки, а тем, что осталось от резьбы: полустёртые птицы, полустёртые солнца, всё когда-то живое, теперь исцарапанное временем до состояния намёка. Чем дальше они шли, тем чаще попадались эти остатки прежнего убранства — здесь угадывался фрагмент оленя, там — что-то похожее на сплетение ветвей, и во всём этом читалась память о времени, когда обитель, судя по всему, служила совсем иным целям, чем те, которым она служила теперь.

В одном месте, там, где резьба сохранилась лучше прочих, Забава различила фигуру — женскую, с крыльями, раскинутыми во всю ширину камня, и лицом, обращённым не к зрителю, а куда-то вверх, будто разглядывающим то самое солнце, которое теперь висело в небе мёртвым, погасшим глазом.

Она замедлила шаг.

Фигура была вырезана с той тщательностью, что выдаёт не просто ремесло, а нечто более личное — каждое пёрышко крыла обозначено отдельной, аккуратной линией, лицо исполнено с той мягкостью, какую редко встретишь в изображениях существ, которых принято бояться. Ничего хищного, ничего угрожающего не было в этом лице — только спо-

койствие, почти нежность, обращённая к небу, которое когда-то, судя по всему, ещё заслуживало того, чтобы на него смотрели с надеждой.

— Не останавливайся, — тихо сказал волхв, вновь потянув её за локоть, но Забава успела заметить достаточно: под фигурой на камне сохранились остатки надписи, старой, почти нечитаемой вязи, из которой уцелело только одно слово, повторённое дважды по обе стороны от крылатой женщины.

Сирин.

— Не смотри на это, — резко сказал он внутри, и впервые за утро в его голосе прозвучало нечто похожее на настоящую боль, не насмешливую, не холодную — живую. — Пожалуй-ста.

Она послушалась — не потому что он попросил вежливо, а потому что редкость этого слова в его устах напугала её больше, чем сама резьба. За три месяца их вынужденного соседства она успела выучить весь скудный набор его интонаций: насмешку, усталость, редкую заботу, спрятанную за грубостью. Но такого она не слышала прежде — так, наверное, звучит голос человека, которого попросили ещё раз взглянуть на собственную могилу.

— Здесь чтили нас когда-то, — добавил он чуть погодя, когда коридор свернул и фигура на стене осталась позади. — Давно. До того, как решили, что чтить проще на костях, чем на алтарях. Прежде, чем ты спросишь — да, это было другое место. Другие люди. Но камень помнит дольше, чем

люди успевают меняться.

Ты знал их? Тех, кто резал эту фигуру?

— Я знал время, когда такую фигуру резали с благодарностью, а не со страхом. Это всё, что я готов сказать сегодня.

Она хотела спросить ещё — о том, что значило «нас», сказанное во множественном числе, о том, сколько таких же фигур могло скрываться в стенах этой обители, стёртых, забытых, переосмысленных в нечто прямо противоположное тому, чем они были задуманы, — но что-то в тоне Сирина, всё ещё натянутом, всё ещё звенящем той непривычной болью, подсказало ей, что сейчас не время настаивать. Она умела это — умела различать, когда молчание стоит больше, чем ответ, вырванный силой.

Коридор постепенно расширялся, потолок поднимался выше, и воздух — прежде спёртый, тяжёлый от векового камня — начал наполняться новым запахом: горькой пылью, дымом, чем-то ещё, сладковатым и неприятным, чему Забава пока не могла подобрать названия, хотя тело её, кажется, знало это название лучше разума, потому что по коже пробежал холод, никак не связанный с температурой самого воздуха.

— Ты чувствуешь? — спросил Сирин.

Что-то горелое.

— Не только. Принюхайся внимательнее, если хватит духа.

Она принюхалась — и тут же пожалела об этом: под запа-

хом дыма скрывался другой, острый, металлический, тот самый, что она уже однажды узнала на собственной коже, когда лезвие впервые оставило на её спине первую из трёх полос.

Кровь.

— Не твоя. Пока.

Это «пока» повисло между ними тяжелее, чем следовало бы для одного короткого слова, и Забава почувствовала, как желудок сжимается в тугой, холодный узел, не имеющий никакого отношения к голоду. Она заставила себя дышать ровнее, считая шаги волхва впереди — привычка, выработанная в клетке, работала и здесь, вне прутьев: счёт помогал не думать о том, о чём думать было невыносимо.

Дверь в конце коридора была той самой, тяжёлой, с оковкой, которую она видела трижды за всю жизнь и каждый раз запоминала на ощупь, будто это могло пригодиться: холодное железо ручки, шершавость дерева там, где годы стёрли краску, характерный скрип петель, не смазанных, кажется, с самого основания обители.

Волхв толкнул её плечом. Заскрипело — протяжно, с той особой, надрывной интонацией, что бывает у дверей, много раз открывавшихся для того, чему не полагается называться добром.

Запах ударил раньше света — горелая полынь, что-то медное снизу, и ещё что-то сладковатое, гнилое, чему Забава давно перестала подбирать слова, потому что слова только портили дело.

Потом — свет, жёлтый, масляный, не похожий на тот тусклый багрянец, к которому привыкли глаза за три месяца под землёй. Она сощурилась, и на мгновение, прежде чем зрение приспособилось, мир вокруг превратился в размытое пятно теней и огня, из которого постепенно, деталь за деталью, начала проступать комната, которую она про себя, ещё в первый раз увидев, назвала местом, где кончаются истории вроде её собственной.

Зал был больше, чем помнили её три предыдущих визита, — или просто страх в этот раз не позволял взгляду сжиматься до одной точки, как случалось прежде. Своды здесь тоже были живыми когда-то — те же сросшиеся стволы, что держали всю обитель, только здесь, в самом сердце святилища, дерево почернело окончательно, будто огонь, много раз бушевавший в этих стенах, оставил по себе не пепел, а саму черноту, впитавшуюся в кору навсегда.

Круг на полу был выложен камнями — не природными, привезёнными издалека, судя по оттенку, чужому для здешней земли, — и внутри этого круга уже расставили сосуды: чаши тёмной меди, наполненные чем-то, что в скудном свете лампад казалось то маслом, то кровью, а на деле, Забава подозревала, было и тем, и другим сразу.

Кручин стоял в центре — тот самый, с редкой бородой, что когда-то сказал за дверью её клетки: «Держится. Крепче, чем мы думали». Сегодня в его позе не было и тени той благодушной уверенности. Он смотрел на неё сверху вниз с

усталостью человека, который заранее решил, что виноват не он, но всё же не мог до конца отделаться от тяжести решения, которое собирался привести в исполнение.

По обе стороны от него стояли ещё шестеро — Забава насчитала их машинально, тем же способом, каким считала пылинки в клетке: двое держали светильники, ещё двое — тонкие серебряные ножи с рукоятями из потемневшей кости, и последние двое волокли знакомый, окованный по углам сундук, тяжело поскрипывающий на стыках досок. Среди них она узнала того, молодого, бледного, что провожал её сюда, — теперь он стоял по левую руку от Кручина, держа светильник обеими руками, будто боялся, что тот вырвется.

— Ножи, чаши, игла, — пробормотал Сирин. — Не отвертись бы хоть раз принести что-то новое.

Тебе бы всё шутить.

— А что мне ещё остаётся, если говорить будешь ты?

Один из младших, тот, что нёс светильник слева от Кручина, — совсем юный, младше самой Забавы, с лицом, ещё не научившимся прятать страх за привычной службе маской, — тихо произнёс, не отрывая взгляда от пламени:

— Учитель, а если она снова...

— Не снова, — оборвал его Кручин, не оборачиваясь. — В прошлые разы мы не были готовы. Сегодня готовы.

Второй служитель, постарше, с тонким, будто вырезанным из кости лицом, позволил себе едва заметную усмешку.

— Готовы, — повторил он тихо, почти неслышно, но За-

бава — а вернее, что-то внутри неё, обострённое присутствием Сирина, — расслышала в этом слове горькую иронию человека, давно переставшего верить собственным словам, но всё ещё вынужденного их произносить.

Она смотрела на них — на этих шестерых, на их лица, застывшие в разной степени напускной решимости, — и впервые за три месяца задумалась не о собственном страхе, а о том, что видела перед собой не палачей в чистом виде, а людей, которых заставили поверить, что они спасают мир, убивая по частям одну-единственную девчонку. От этой мысли легче не стало. Скорее наоборот: было бы проще ненавидеть чудовищ, чем понимать, что перед тобой — просто люди, слишком напуганные, чтобы усомниться вовремя.

— Время пришло, двоедушница, — произнёс Кручин, обращаясь наконец напрямую к ней, тем же ровным голосом, каким, наверное, объявлял об урожае. — Сегодня мы закончим то, что начали много лет назад.

Она не ответила. Внутри снова качнулось — на этот раз ощутимее.

— Не бойся, — продолжал он, пока служители расставляли чаши по кругу пола, стёртого тысячами таких же кругов до блеска, неуместного для камня такого возраста. — Ритуал требует лишь крови и голоса. Твоего голоса. Когда ты допьёшь до конца, нити, что ещё держат Явь живой, оборвутся. Солнце станет белым. Холод — вечным. А мы наконец получим покой.

Она слушала это и с холодной ясностью, неожиданной для себя самой, понимала: он верит в то, что говорит. Не притворяется, не лжёт ради спокойствия жертвы перед закланием — искренне, всем существом верит, что убийство, которое собирается совершить, есть акт спасения, а не разрушения. Это было страшнее любой откровенной жестокости, потому что с искренней верой невозможно было спорить так же, как со злым умыслом: злой умысел можно было бы устыдить, а веру — только сломать вместе с тем, кто её носит.

— Голоса, — медленно повторил Сирин, и впервые Забава почувствовала, как меняется вес внутри неё — не тяжесть крыла, а что-то собирающееся глубже, в горле, в груди, там, где рождается не мысль, а звук. — Занятно, что он сам это сказал.

Что ты имеешь в виду?

— Они годами резали тебе руки, вливали яд и шептали над твоей кровью, пытаясь достать до меня через кожу. — Голос Сирина стал тише, но твёрже, будто он впервые за долгое время был по-настоящему серьёзен. — Они ни разу не пробовали через голос. Ты уверена, что готова узнать, почему.

Юный служитель слева нервно перехватил светильник поудобнее, и пламя в нём дрогнуло, отбрасывая на стены рваные, дёргающиеся тени, среди которых Забаве на мгновение почудилась та самая крылатая фигура с коридорной стены — будто и здесь, в самом сердце обители, кто-то когда-то

вырезал её подобие, а потом постарался стереть как можно тщательнее.

— Учитель, — снова заговорил юный, на этот раз тише, почти шёпотом, — а что, если Ритуал не вернёт солнце? Что, если...

— Тогда мы попробуем снова, — резко ответил Кручин, и в этой резкости Забава впервые услышала не уверенность, а нечто похожее на страх, тщательно задавленный годами практики скрывать любые чувства, кроме показной решимости. — Мы пробовали снова много раз. Мы попробуем снова столько, сколько понадобится.

Один из младших подошёл и взял её за волосы — буднично, как берут вещь, которую уже десять раз брали точно так же. Забава не сопротивлялась. Позволила оттянуть голову назад. Позволила приставить холод лезвия туда, где под кожей мерно стучало то небольшое живое, что у неё осталось.

Она смотрела в почерневший свод над головой, туда, где когда-то, судя по остаткам резьбы, тоже было солнце — целое, с непрерывными лучами, — и думала о том, что если это действительно последний раз, каким его назвал молодой волхв, то хотелось бы, чтобы последнее, что она увидит, было чем-то, кроме чужого потолка. Мысль была короткой, почти отстранённой, и всё же где-то за ней притаилась настоящая, острая тоска — не по дому уже, дом стал слишком далёкой роскошью, а просто по небу. По настоящему, живому небу, которого она не видела три месяца.

И тогда снизу, из-под каменных плит, пришло тепло.

— Око, — выдохнул Сирин, и в этом слове было столько голода, что Забаве на миг стало страшно не за себя. — Оно слышит меня раньше, чем ты успеваешь испугаться. Позволь хоть раз.

Позволить что?

— Говорить за нас обоих. Один раз. Всего один звук.

Кручин поднял руки и начал шептать. Слова были старые, ломкие, пополам с теми, что волхвы досочинили сами уже после того, как боги ушли и некому стало проверять, правильно ли те звучат. В них не было силы — только страх, который они взрастили в себе так старательно, что научились принимать его за закон мира.

Забава посмотрела на нож у своего горла.

Хорошо, — сказала она внутрь себя, и это далось труднее, чем любое слово за все три месяца в клетке. — *Один звук. Но потом — снова я.*

— Потом решим, — ответил Сирин, и в этом ответе не было обещания. Только честность, которая оказалась страшнее любой лжи.

Она открыла рот — не для крика. Для чего-то, у чего пока не было человеческого имени.

Звук родился не в горле — в груди, там, где годами лежал под рёбрами тяжёлый, ждущий вес. Он поднялся сквозь неё, как поднимается со дна колодца эхо, которого никто не звал, и вышел не голосом, а тем, чем голос становится, когда

его слишком долго душили: низким, вибрирующим гулом, от которого лопнули все три лампы разом, будто задутые невидимым ветром.

Кручин запнулся на середине слова. Забава увидела это будто со стороны — как его лицо, привычно усталое, стало обычным человеческим лицом, которое видит то, во что не готово было поверить, даже организовав это своими руками годами.

Юный служитель слева выронил светильник первым — не потому что оказался слабее прочих, а потому что стоял ближе всех, и звук достиг его раньше, чем успел рассеяться хоть немного в воздухе зала. Он упал на колени, зажимая уши руками — тщетно, потому что звук проходил не через уши, а сквозь кость, сквозь зубы, сквозь сам воздух, который, казалось, на мгновение перестал быть воздухом и стал чем-то более плотным, более осязаемым, чем-то, что можно было почувствовать кожей, как чувствуют внезапный порыв ледяного ветра.

Служитель с ножом справа от Кручина отшатнулся к стене, роняя клинок — не от боли ещё, а от того особого ужаса, что случается, когда тело понимает опасность раньше разума и действует само, без спроса. Второй, что нёс сундук вместе с товарищем, рухнул на одно колено, будто под тяжестью, которой не было в комнате мгновение назад, и захрипел — коротко, сдавленно, хватаясь за грудь так, словно звук проникал не только в уши, но и внутрь, под рёбра, туда, где

положено биться сердцу.

Пламя в разбитых лампадах не погасло — рассыпалось искрами по каменному полу, и в этой темноте звук всё длился, уже не гул, а нечто ближе к крику, хотя губы Забавы почти не двигались. Это Сирин говорил её ртом — или, может быть, впервые за много лет они говорили одним ртом сразу, без разницы, чей голос чей.

Тот из служителей, что усмехался чужому страху мгновение назад — старший из младших, с лицом, будто вырезанным из кости, — стоял неподвижно дольше остальных, словно пытался доказать себе и всем присутствующим, что способен выдержать то, чего не выдержали товарищи. Продержался он на два удара сердца дольше — а потом его тоже согнуло пополам, и из уголка рта показалась тонкая струйка крови, будто что-то внутри него не выдержало напряжения и лопнуло беззвучно, поглощённое общим гулом.

Кто-то закричал в ответ — человеческим, сорванным голосом, чистым ужасом без единого слова. Чаши на полу лопнули одна за другой, будто изнутри их ударило кулаком; тёмная жидкость расплескалась по камню, дымясь там, где касалась разбитого стекла лампад.

Служитель с сундуком попятился и упал, зажимая уши, из которых показалась тёмная кровь. Второй, тот, что усмехался чужому страху мгновение назад, не усмехался больше — стоял, вжавшись спиной в стену, беззвучно шевеля губами, будто пытался вспомнить молитву, которая могла бы сейчас

пригодиться, и не находил ни одной подходящей.

Нож у горла качнулся и упал сам — рука, что держала его, разжалась не от боли, а от звука, прошедшего сквозь кость крепче любой боли. Забава не почувствовала пореза сразу. Почувствовала только, как по шее потекло что-то тёплое, и с странным, отстранённым спокойствием подумала: *ну вот, ещё один шрам. Хоть будет что вспомнить кроме сегодняшнего вечера.*

Крик длился — три удара сердца, может, четыре, а может, гораздо дольше: время в эти мгновения текло неровно, рывками, будто и оно поддалось общему хаосу, — и в нём не было слов, но Забава, единственная в комнате, различала под гулом что-то похожее на плач. Не ярость. Годы, годы того, что нельзя было выпустить, наконец нашли щель.

Она чувствовала это не разумом даже, а тем же местом в груди, где годами жил Сирин: не торжество освобождённой силы, а что-то куда более простое и куда более человеческое — облегчение существа, которому наконец позволили сказать то единственное, что оно молчало слишком долго, чтобы это молчание не оставило по себе шрам глубже любого из тех, что были на её собственной спине.

Своды над головой отзывались собственным, низким стоном — древесина, столько лет державшая форму свода, вдруг будто вспомнила, что когда-то была живым деревом, и глубокая, узкая трещина побежала вверх, туда, где резьба сплеталась в подобие солнца, вычерчивая по чёрной коре

светлую, свежую рану.

Хватит, — сказала она внутрь себя, когда почувствовала, что собственные рёбра начинают гудеть в лад чужому голосу, будто вот-вот треснут. — *Слышишь? Хватит. Мы же договорились.*

Звук оборвался разом — не стих, а именно оборвался, как обрывается струна.

Тишина после него была почти оглушительнее самого крика. Где-то в глубине зала потрескивало пламя, перекинувшееся на сухие травы, рассыпанные из перевёрнутого сундука; дым, густой и горький, начал стелиться по полу, ища выход туда же, куда стремилось теперь всё живое в этой комнате.

Кручин у стены пытался встать, зажимая ухо, и в его взгляде, брошенном на неё сквозь дым и рассыпанные искры, было не столько злости, сколько потрясённого, почти детского недоумения — как у человека, который годами кормил зверя из клетки и вдруг обнаружил, что решётка была тоньше, чем он думал.

— Ты не должна была... — начал он, и голос его звучал глухо, будто издалека — крик оставил в его ушах свой собственный, персональный подарок.

— Знаю, — сказала Забава, и её собственный голос вышел хриплым, сорванным, почти чужим. — Никто из нас не должен был. Но вот мы здесь.

Внутри — тишина. Не пустота, а именно тишина, усталая,

звнящая, будто после долгого крика охрип не только человек, но и то, что жило под его рёбрами.

— Больно? — спросила она мысленно, не сразу, потому что вопрос показался ей глупым и честным одновременно.

— Не тебе одной досталось сегодня, — ответил Сирин, и голос его впервые за всё это время звучал не насмешливо и не голодно. Просто устало. — Иди. Пока дверь ещё открыта.

Она посмотрела вокруг себя — на юного служителя, всё ещё зажимающего уши на коленях; на второго, беззвучно шепчущего молитвы стене; на Кручина, пытающегося подняться, опираясь ладонью о собственную кровь, темневшую на камне; на разгорающийся, жадный огонь, что уже нашёл себе дорогу вверх, к самым сводам, — и поняла, что стоять на месте, разглядывая содеянное, было бы худшей из всех возможных ошибок.

Ноги не слушались сразу — тело, три месяца привыкшее к неподвижности камеры, отзывалось на команду двигаться с явным, почти оскорбительным опозданием, будто само не верило, что теперь ему позволено бежать, а не просто сидеть, дожидаясь очередного визита с ножом. Она заставила себя сделать первый шаг, и второй дался уже легче, а третий — почти естественно, хотя пол под ногами устилали рассыпанные угли, ещё тлеющие обломки лампад, лужи чего-то тёмного, что она предпочла не разглядывать.

— Куда? — быстро спросила она мысленно, не замечая, что задержала дыхание.

— Не туда, откуда мы шли, — тут же ответил Сирин, и в его голосе, всё ещё усталом после крика, прорезалась прежняя, знакомая собранность. — Там дым гуще. Правее. Видишь проём за колонной?

Она не видела — не сразу, дым уже успел заволочь большую часть зала плотной, режущей глаза пеленой, — но, приглядевшись, различила действительно тёмный провал в стене, туда, куда огонь ещё не успел протянуть свои жадные, разрастающиеся языки.

Она рванулась туда, огибая опрокинутый сундук, из которого сухие травы продолжали чадить особенно едким, горьким дымом, и едва не упала, зацепившись подолом за что-то на полу, — обломок скамьи, а может, часть обвалившегося свода, она не стала разбираться, вырвала ткань резким рывком и побежала дальше.

Жар нарастал с каждым шагом — не ровно, а волнами, будто само пламя дышало, то отступая, то бросаясь навстречу новой пище, находя её в сухой, столетиями томившейся без огня древесине сводов. Где-то позади что-то рухнуло с тяжёлым, гулким треском — обвалился кусок потолка или упала одна из горящих балок, — и жаркая волна, толкнувшая её в спину, заставила пригнуться ниже, туда, где воздух ещё оставался пригодным для дыхания хотя бы отчасти.

— Быстрее, — сказал Сирин, и в его голосе впервые за это утро прозвучало нечто похожее на настоящую тревогу, не насмешливую вовсе. — Свод трещит не только там, где

кричала ты. Огонь нашёл собственные слабости.

Я стараюсь.

— Старайся быстрее. Мы не для того выжили этот крик, чтобы тебя завалило балкой в придачу.

Она добралась до проёма за колонной — узкого, едва достаточного, чтобы протиснуться плечом, — и, оглянувшись на мгновение, увидела то, что запомнит, наверное, до конца жизни: зал, ещё недавно казавшийся ей огромным, неприступным местом её собственного конца, теперь рушился сам в себя, пожираемый огнём, который сам же зал и породил столетия назад, храня в своей сухой, мёртвой древесине память о живом дереве, только и ждавшую повода вспыхнуть.

Кручин, уже почти поднявшийся на ноги, смотрел ей вслед сквозь дым и рассыпанные искры — не с ненавистью, скорее с тем самым потрясённым недоумением, что она уже видела мгновением раньше, — но не сделал ни шагу следом. То ли не мог, то ли что-то в этом взгляде подсказывало ему, что сейчас не время додумывать план до конца.

Она протиснулась в проём, оцарапав плечо о шершавый край стены, и оказалась в более узком коридоре — не том, по которому её вели сюда, а другом, менее ухоженном, с полом, неровным от многолетнего небрежения, будто этим путём пользовались редко, разве что для нужд хозяйственных, а не церемониальных.

Дым здесь был не таким плотным, хотя запах гари уже проникал и сюда, настигая её с каждым новым вдохом. Она

бежала, не разбирая толком дороги, полагаясь на короткие, отрывистые подсказки Сирина — «налево», «здесь ступени, осторожно», — которые тот выдавал с той же собранностью, с какой отдавал бы команды солдату в бою, а не измученной девчонке, только что впервые в жизни закричавшей голосом древнего существа.

Под полом, там, где лежало Око, тепло начало медленно гаснуть — не исчезать, а будто отступать, довольное тем, что сегодня наконец было услышано. Забава почувствовала это не разумом, а тем же смутным, необъяснимым чутьём, каким чувствовала присутствие Сирина: тёплая, глубинная пульсация где-то под ногами, что сопровождала её всё это утро, теперь стихала, как затихает animal, удовлетворённое долгожданной пищей.

Она добежала до развилки — коридор здесь раздваивался, один рукав уходил вверх, судя по доносившемуся оттуда сквозняку, второй тянулся дальше в темноту, без единого проблеска света.

— Вверх, — быстро сказал Сирин. — Сквозняк — значит, воздух снаружи. Темнота без сквозняка — значит, тупик или подземелье. Не время проверять, какое из двух.

Она послушалась без вопросов, свернула туда, где тянуло свежестью, и почувствовала, как с каждым шагом дым за спиной становится тише, а гул рушащегося зала — глуше, будто сама обитель нехотя отпускала её, требуя взамен последнюю дань в виде обожжённых лёгких и ободранных ла-

донец.

Пятьдесят кун за меня, — подумала Забава, переступая порог узкого прохода, за которым уже угадывался тусклый дневной свет, и не оглядываясь на то, что осталось позади, — теперь, кажется, придётся утратить. Хотя бы за причинённый шум.

Позади, в глубине разгорающегося зала, Кручин наконец поднялся на ноги — медленно, тяжело опираясь о обломок собственного, некогда несокрушимого авторитета, — и, глядя в спину уходящей двоедушнице сквозь дым и пламя, понял то, что ещё утром отказался бы принять даже в самой смелой из своих тревог: план, о котором знал только Лютобор, только что перестал быть запасным.

Первуша пришёл в себя раньше остальных — оглушённый, уши всё ещё звенели тонким, назойливым звоном, будто кто-то внутри черепа продолжал тянуть одну и ту же ноту, — но живой, и первое, что он увидел, открыв глаза, было пламя, уже деловито пожирающее сухие связки трав, рассыпанные из перевернутого сундука.

Он лежал там, куда его отбросило, — у самой стены, недалеко от того места, где стоял с самого начала церемонии, — и несколько долгих мгновений просто смотрел в почерневший свод над головой, не в силах заставить тело подчиниться. Мысли путались, наползали одна на другую бессвязными обрывками: крик, дым, кровь на губах Ставра, лицо учителя, впервые за три года не выражающее ничего, кроме потрясе-

ния.

Его звали Первуша — имя, которое в этих стенах давно перестали употреблять, заменив его безликим «младший», но которое он всё ещё помнил сам, про себя, как помнят то небольшое, что осталось от жизни до обители. Мать звала его так, провожая в эти стены три года назад, веря — искренне, всем сердцем, — что отдаёт сына служению чему-то доброму и правильному. Он не знал, простила бы она его сейчас, за всё, что он успел сделать чужими, направляемыми учителем руками, или, наоборот, оказалась бы единственным человеком, способным понять, почему сегодня, впервые за три года, что-то в нём отказалось повиноваться дальше.

Он закашлялся, отползая от разгорающегося очага прочь, туда, где дым ещё не скопился настолько плотно, чтобы забивать лёгкие при каждом вдохе. Рядом, у стены, второй служитель — Ставр, с тем самым, будто вырезанным из кости лицом, — так и стоял, замерев, беззвучно шевеля губами, и Первуша, повинуюсь скорее инстинкту, чем ясной мысли, схватил его за рукав и потянул за собой.

— Идём, — прохрипел он. — Ставр. Идём, здесь всё горит.

Ставр не отреагировал сразу — взгляд его оставался прикованным к дальнему краю зала, туда, где Кручин, шатаясь, поднимался на ноги среди обломков собственного плана, — но потом всё же позволил увести себя прочь, к боковому проходу, которым пользовались редко, только когда основ-

ной путь оказывался занят чем-то более срочным, чем удобство.

— Ставр, — снова позвал Первуша, уже настойчивее, когда они миновали первый поворот и дым за спиной начал редеть. — Ты меня слышишь?

— Слышу, — глухо отозвался Ставр, и голос его прозвучал так, будто доносился из-под толщи воды. Он поднял руку, коснулся собственного уха, и на пальцах осталась тёмная, уже подсыхающая полоса. — Просто... в голове до сих пор её крик. Как будто он никуда не делся.

— У меня тоже, — признался Первуша, не сбавляя шага. — Может, он там навсегда и останется.

Огонь за их спинами гудел всё громче, находя себе пищу в сухих стволах-сводах, что веками стояли мёртвыми, но никогда прежде не пробовали гореть по-настоящему. Первуша, оглянувшись на бегу, увидел, как трещина, пущенная криком двоедушницы по резному солнцу на своде, разрасталась вверх, впуская внутрь дым, который тут же превращался в собственное, отдельное от огня пламя, будто сама древесина наконец нашла способ высказать то, что копила веками молчаливого, неподвижного существования.

— Учитель сказал, — пробормотал Ставр, наконец обретя голос, хриплый и дрожащий, — сказал, что план не может провалиться. Что мы готовы.

— Учитель ошибся, — коротко ответил Первуша, вытаскивая товарища за собой в узкий, спасительно прохладный

коридор, где дым ещё не успел собраться в удушающую пелену. — Дважды за сегодня. Сперва про готовность. Потом про то, что она снова не вырвется.

Ставр остановился так резко, что Первуша едва не выпустил его рукав.

— Ты понимаешь, что говоришь? — прошептал он, оглядываясь так, будто сами стены могли донести на них учителю даже сейчас, посреди пожара. — Такие слова...

— Такие слова уже ничего не изменят, — оборвал его Первуша, и что-то в его собственном голосе удивило его самого — твёрдость, которой он никогда прежде в себе не замечал. — Обитель горит, Ставр. Учитель истекает кровью из ушей. А ты всё ещё боишься, что кто-то донесёт на тебя за правду?

Ставр молчал долго — достаточно долго, чтобы где-то позади что-то с грохотом обрушилось, отозвавшись дрожью в полу под ногами.

— Я боюсь не доноса, — сказал он наконец, тихо, почти шёпотом. — Я боюсь, что если позволю себе думать так, как думаешь сейчас ты, мне придётся признать, что последние три года я не служил ничему, кроме собственного страха. А это... — он покачал головой, будто сама мысль была физически тяжела. — Это хуже, чем сгореть здесь заживо.

Первуша посмотрел на него — на этого человека, которого знал три года, с которым делил хлеб, молитвы, страх перед каждым новым ритуалом, — и вдруг почувствовал что-

то похожее на жалость, острую и неожиданную.

— Тогда не признавай, — сказал он мягче. — Просто иди за мной. Остальное можно решить позже, когда мы оба не будем стоять в горящем здании.

Это, кажется, подействовало лучше любых убеждений — Ставр качнул головой, коротко, судорожно, и позволил снова потянуть себя за собой, к боковому проходу, где воздух постепенно становился чище, а гул пожара за спиной — глуше.

Простите, учитель, — подумал Первуша мимолётно, без особого сожаления, скорее с констатацией факта, который сам его удивил своей холодностью. — *Кажется, впервые за три года я не собираюсь делать то, что вы велите.*

Он вытащил упирающегося, всё ещё оглушённого Ставра в соседний зал, где воздух был чище, а свет — обычный, дневной, скудный, но живой, лился из узкой щели в своде, и только там, наконец, позволил себе остановиться и перевести дух, слушая, как где-то позади, в самом сердце обители, рушится то, что ещё утром казалось незыблемым, как сама земля под ногами.

Ставр опустился на пол, привалившись спиной к холодной стене, и закрыл лицо руками — не плача, просто позволяя себе на мгновение перестать быть тем послушным, безупречным служителем, которым его учили быть с того самого дня, как он переступил порог обители.

— Что теперь? — спросил он глухо, не поднимая головы. Первуша долго не отвечал, глядя на узкую полоску днев-

ного света, пробивающуюся сквозь трещину в своде, — ту самую свободу, о которой три месяца, должно быть, мечтала девчонка в клетке этажом ниже, и которую он сам, оказывается, никогда прежде толком не замечал, потому что ему не было нужды её искать.

— Не знаю, — честно признался он наконец. — Но, кажется, оставаться здесь и ждать, пока учитель решит, кто виноват в сегодняшнем провале, — не самый разумный из вариантов.

Внизу, на хозяйственном дворе обители, где снег был вытоптан сотнями подошв за многие зимы, Лютобора уже ждали четверо — все в тёмных плащах, все с оружием, начищенным до того блеска, что выдавал не тщеславие, а привычку не давать себе спуска даже в мелочах.

Он оглядел их, прежде чем заговорить, — привычка, оставшаяся с тех времён, когда перед каждым выходом он пересчитывал своих людей глазами, будто самым взглядом мог заранее удостовериться, что все вернутся в том же числе, в каком выступили. Тогда это не сработало. Он знал, что и сейчас не сработает — счёт глазами ничего не гарантирует, — но не считать не мог, как не мог не дышать.

— Собрались, — не спросил, а отметил Лютобор, обводя их взглядом, задерживаясь на каждом ровно настолько, чтобы напомнить без слов: он помнит, чего стоит каждый из них, и ожидает, что они это помнят тоже.

— Собрались, воевода, — ответил тот, что стоял первым,

— жилистый, с резким, будто вечно раздражённым лицом, отчего его свои же прозвали Кислым, хотя вслух этого никто не произносил в его присутствии. Лицо у него и вправду было такое, будто он постоянно раскусил что-то горькое и не спешил выплёвывать, — кривая складка у рта, глаза чуть прищурены, словно свет всегда бил в них немного не под тем углом. Лютобор знал его дольше остальных троих: Кислый служил ему ещё до обители, был среди тех немногих, кто не входил в состав злополучной полусотни, ушедшей на лёд, — и, может быть, именно поэтому Лютобор доверял ему чуть больше, чем позволял себе доверять кому-либо ещё. Не потому что Кислый был предан особо, а потому что тот никогда не притворялся преданным больше, чем был на самом деле, — редкое качество среди людей, привыкших выживать лестью.

— Куда идём?

— В обители сегодня заканчивают Ритуал над двоедушницей, — сказал Лютобор, не тратя времени на предисловия. — Если всё пройдёт как задумано — мы не понадобится. Если нет — а я рассчитываю именно на это — мы выдвигаемся немедленно, как только я получу знак.

Один из четверых, помоложе остальных, неуверенно кашлянул.

— Прощения просим, воевода. А если она... того. Как её называют. Ну, если она правда способна на то, о чём шепчутся младшие волхвы?

Лютобор посмотрел на него долгим, ровным взглядом — не с раздражением, скорее с той усталой снисходительностью, с какой смотрят на молодость, ещё не научившуюся отличать полезный вопрос от бесполезного. Он не помнил его имени толком — тот был из новых, взятых в отряд после ледяной катастрофы, когда старый состав пришлось набирать заново, по одному, тщательно проверяя каждого, чтобы больше никогда не оказаться в положении командира, чья дружина легла в землю по чужой глупости или собственному просчёту.

— Тогда, — сказал он, — мы будем действовать так, как всегда действуем против того, что сильнее нас поодиночке. Слаженно. Быстро. Без геройства, которое годится только для песен, а не для тех, кто хочет дожить до утра, чтобы эти песни послушать.

Слово «слаженно» прозвучало ровно, буднично, как любое другое в его лексиконе, — и всё же где-то глубоко, в том месте, куда Лютобор годами не позволял себе заглядывать без крайней нужды, оно отозвалось коротким, почти неосязаемым уколом. Слаженно — так он планировал тот манёвр на льду. Слаженно, продуманно, с расчётом на каждую переменную, кроме одной, которую он так и не смог предугадать заранее. Он отогнал эту мысль так же быстро, как она пришла, — привычным, отточенным усилием, — но не раньше, чем она успела оставить по себе то самое короткое эхо, с которым он научился жить, не позволяя ему становиться гром-

че шёпота.

— А приказ, воевода? — уточнил Кислый. — Убить, если что?

— Нет, — резко ответил Лютобор, и в этой резкости прозвучало нечто, чего не было в его голосе прежде — не гнев, а нечто более личное, глубже спрятанное. — Взять живой, если получится. Взять Око, если не получится взять её. Мёртвая двоедушница нам не нужна — мёртвая, она станет только легендой, а легенды имеют свойство разрастаться быстрее, чем любой живой враг.

Кислый кивнул, ничем не выдав, поверил ли он этому объяснению целиком или разглядел за ним что-то ещё — то, о чём Лютобор предпочитал не говорить вслух даже себе самому: что живая пленница означала для него не просто трофей для обителю, а последний шанс доказать, что решение, разлучившее его с половиной сотни, было верным, а не просто меньшим из зол, которое он выбрал, потому что не хватило духа выбрать большее.

Он замолчал на мгновение, глядя куда-то поверх голов своих людей, туда, где над кронами Чернолесья уже поднимался редкий, но заметный дымок — слишком ранний для того часа, что был назначен для завершения ритуала.

Слишком рано, — подумал он, и это была первая мысль, за которую он не мог поручиться, что она принадлежит исключительно расчёту, а не чему-то менее удобному, менее укладывающемуся в привычную схему собственных решений.

Двое из четверых, стоявших чуть позади Кислого, переглянулись — коротко, настороженно, — но ни один не решился произнести вслух то, что явно вертелось у обоих на языке: что дым в неурочный час редко бывает добрым знаком для тех, кто планировал прийти на всё готовое.

— Выдвигаемся, — сказал он вслух, уже не дожидаясь дальнейших вопросов. — Кручин учил меня не тратить время на приметы. Но дым в неурочный час — не примета. Это факт, а факты я привык проверять лично.

Кислый первым тронулся с места, проверяя на ходу застёжку плаща, — движение настолько привычное, что выглядело почти бездумным, и всё же Лютобор знал: за этой бездумностью скрывается человек, который никогда не выходит в дело неготовым, даже если готовиться приходится за три шага до порога.

— Как в старые времена, воевода? — тихо спросил Кислый, поравнявшись с ним. В вопросе не было издёвки — только тень чего-то похожего на память, которую они делили вдвоём, не проговаривая её вслух годами.

— Хуже, — коротко ответил Лютобор, не оборачиваясь. — В старые времена я хотя бы знал, с чем имею дело.

Четверо тронулись следом за ним без единого лишнего слова — так, как привыкли двигаться люди, много раз проверенные в деле и знающие цену молчаливой слаженности лучше, чем цену геройских слов. Снег под их сапогами скрипел ровно, в один темп, и Лютобор, шагая впереди, старал-

ся не думать о том, что этот же ровный, слаженный шаг он помнил и по той, последней дороге на лёд — и что слаженность, оказывается, ничего не гарантирует, кроме того, что, если беда придёт, она придёт для всех одновременно.

Кручин поднимался на ноги медленно — не потому что был стар, хотя годы, конечно, тоже давали о себе знать сильнее обычного после того, что только что пронеслось сквозь эти стены, а потому что каждое движение отдавалось теперь в голове тупой, пульсирующей болью, эхом того звука, который, он подозревал, останется с ним до конца дней, как остаётся в ушах морской шум после долгого шторма.

Он оперся ладонью о ближайшую колонну — тёплую уже, слишком тёплую для камня, — и не сразу понял почему, а когда понял, отдернул руку резче, чем позволил бы себе на людях: огонь добрался и сюда, тихо, исподволь, пока всё его внимание было занято куда более громким бедствием.

Зал вокруг него больше не был залом в привычном смысле — скорее руинами того, что несколько минут назад претендовало на звание сердца всей обители. Своды над головой чернели неровными подпалинами, там и здесь прорезанными свежими, светлыми трещинами — раны на теле мёртвого дерева, будто оно наконец нашло способ закричать так же, как кричала она. Дым стелился низко, густо, находя себе путь в каждую щель, и сквозь эту пелену Кручин видел своих людей — тех немногих, что ещё оставались в зале, — расползающихся кто куда: один волочил ногу к дальнему проходу,

зажимая ухо ладонью, из-под которой сочилась тёмная, уже подсыхающая кровь; второй так и сидел на полу, привалившись к перевёрнутому сундуку, не в силах подняться, глядя перед собой пустым, ничего не выражающим взглядом.

Первуши и Ставра не было видно. Кручин заметил это не сразу — слишком занят был собственным телом, собственной болью, — но, оглядевшись внимательнее, понял, что двое младших исчезли, не дождавшись ни приказа, ни разрешения, и что-то в этом факте резануло глубже, чем следовало бы для такой мелочи посреди куда большей катастрофы.

Он поднял взгляд туда, где ещё недавно возвышалась резная фигура солнца, венчавшая главный свод, — символ, который волхвы сохраняли веками, даже когда сменили служение одним богам на служение другим, даже когда сам смысл этого символа выцвел, истончился до пустой формальности, повторяемой по привычке, а не по вере. Трещина, пущенная криком двоедушницы, прошла ровно через сердце этого солнца, разделив его на две неравные половины, и Кручину, не склонному в обычные дни к излишней метафоричности, вдруг подумалось, что более точного образа для сегодняшнего дня трудно было бы подобрать, даже если бы он нарочно этого добивался.

Держится, — вспомнил он собственные слова, сказанные когда-то за дверью её клетки, в первые месяцы, когда всё ещё казалось управляемым, просчитанным, укладываемым в рамки того плана, что он выстраивал годами. *Крепче, чем мы*

думали.

Он тогда не ошибся в оценке — просто неверно истолковал собственный вывод. Она действительно держалась крепче, чем они рассчитывали. Вопрос, который он не задал себе вовремя, звучал иначе: крепче для чего? Для того, чтобы выдержать боль и не сломаться раньше срока, как они надеялись, — или для того, чтобы выдержать достаточно долго, накопив в себе именно то, что сегодня разнесло зал ритуала в подобие руин?

Кручин медленно опустился на ближайший уцелевший камень — не потому что хотел сидеть, а потому что ноги отказывались держать его дольше необходимого, — и позволил себе на мгновение то, чего не позволял давно: посмотреть в лицо собственной ошибке без немедленной попытки оправдать её перед самим собой.

Три месяца назад он был уверен в своём плане настолько, что счёл достаточным поручить запасной вариант одному-единственному человеку, не посвящая в детали остальных, — решение, которое казалось тогда разумной осторожностью, а не признаком собственного, тщательно скрываемого сомнения. Он помнил, как объяснял это себе: чем меньше людей знают о возможности провала, тем меньше вероятность, что само это знание станет причиной провала — самоисполняющееся пророчество, которого он опасался куда больше, чем самой двоедушницы.

Теперь, глядя на трещину в резном солнце, на дым, сте-

лющийся к разбитым сводам, на кровь, темнеющую на камне там, где ещё недавно стоял его собственный, тщательно выстроенный авторитет, Кручин понимал очевидное, слишком поздно осознанное: план, о котором знал только Лютобор, только что перестал быть запасным. Стал единственным.

Он попытался восстановить в памяти лицо Лютобора, каким видел его этим утром, — ровное, собранное, лишённое той тени сомнения, что Кручин так тщательно и годами взращивал в нём же самом, вплетая в каждый разговор напоминания о цене провала, о дружине, легшей на лёду. Это было расчётливо с его стороны — использовать чужую боль как инструмент верности, — и до сегодняшнего дня он не видел в этом ничего, кроме разумной предусмотрительности. Теперь, впервые, он позволил себе задуматься, во что обходится человеку годами носить чужую вину, специально культивируемую кем-то, кто называет себя его учителем.

Снаружи, за пределами разрушающегося зала, небо оставалось тем же, каким было всегда, — багровым, погасшим, безучастным к тому, что происходило у его подножия. Кручин представил себе, как оно выглядит сейчас с хозяйственного двора, где Лютобор наверняка уже повёл своих людей к воротам, заметив дым раньше положенного часа, — и в этом образе, неожиданно для себя самого, старик отыскал что-то похожее на слабое, зыбкое подобие надежды. Не в самом ритуале — тот, он это уже понимал, провалился окончательно, в третий, ставший теперь четвёртым разом. Надежда была в

другом: план, который он выстраивал годами, оказался достаточно продуман, чтобы пережить даже такой провал, каким обернулось сегодняшнее утро.

Он медленно поднялся на ноги — на этот раз твёрже, опираясь уже не на слабость, а на то небольшое, что оставалось у него взамен: холодный, отточенный десятилетиями расчёт, который не позволял себе роскоши долго оставаться потрясённым, даже перед лицом собственной ошибки.

— Учитель, — раздался хриплый голос откуда-то из дыма — один из уцелевших служителей, тот, что держался за окровавленное ухо, с трудом поднимался на ноги неподалёку. — Что нам делать?

Кручин посмотрел на него долгим, ровным взглядом, в котором уже не осталось ни следа недавнего потрясения, — только знакомая, привычная маска человека, который годами учился не показывать своих истинных мыслей никому, включая, возможно, самого себя.

— Тушить, что можно потушить, — сказал он наконец, и голос его, хриплый после крика, ударившего по ушам, всё же звучал с прежней властностью, будто пожар был досадной мелочью, а не крушением всего, во что он верил ещё утром. — Собирать раненых. А об остальном, — он бросил последний взгляд туда, где в разбитом своде виднелся клочок багрового неба, — позаботится Лютобор.

Он зашагал прочь от разрушенного круга, туда, где ещё можно было спасти хоть что-то из некогда несокрушимой

обитатели, и где-то там, за стенами, за деревьями Чернолесья, начиналась история, которую он больше не мог написать по собственному замыслу — только следить за тем, как она пишется сама, с каждым шагом всё дальше уходя из-под его контроля

Глава 2 Побег и кража Ока

СКВОЗЬ ДЫМ

Дым в коридоре был гуще, чем в самой комнате — будто огонь, не найдя, куда деться в каменных стенах, потёк искать выход туда же, куда и она.

Забава бежала, не разбирая дороги, одной рукой зажимая порез на шее, другой хватаясь за стены там, где резьба ещё держалась. Крик утих внутри, но эхо его осталось — не в ушах, в костях, будто она до сих пор немного звенела, как разбитая, но не рассыпавшаяся чаша.

Глаза слезились — не от горя, от гари: тонкая, едкая взвесь щипала так, что мир вокруг то и дело расплывался в пятна серого и оранжевого, и приходилось моргать чаще, чем дышать, чтобы хоть что-то различить впереди себя. Она давно потеряла счёт поворотам. Три месяца под землёй выучили её считать шаги в клетке, но не в горящем коридоре, где каждый шаг стоил вдвое дороже обычного из-за того, что ноги то и дело норовили подвернуться на обломках, усеявших пол.

Направо, — сказал Сирина. Голос его звучал устало, вымотанно, будто крик забрал силы у них обоих поровну. *Я чувствую холод оттуда. Настоящий, не тот, что в этих стенах.*

Ты уверен?

— Нет. Но у нас закончились варианты, за которые можно быть уверенными.

Она свернула. Коридор здесь сужался, потолок опускался так, что резьба на нём — некогда птицы, некогда солнца — проходила в вершке от макушки, и приходилось пригибаться, задевая плечами стены, покрытые то ли копотью, то ли просто вековой темнотой, которую огонь ещё не успел выбелить в свою пользу. Где-то позади кричали, но крики были растерянными, не организованными: люди, не понимающие, за кем гнаться в первую очередь — за беглянкой или за огнём, который, судя по звуку, уже не спрашивал ничьего разрешения, куда ему распространяться дальше.

Что-то с грохотом обрушилось позади — не близко, но достаточно, чтобы пол под ногами отозвался коротким, мерзким дрожанием, будто вся обитель, дерево и камень разом, впервые за века своего существования усомнилась в собственной прочности. Забава пригнулась ниже, туда, где дым стелился не так плотно, и почувствовала, как лёгкие уже начинают гореть не хуже стен вокруг — каждый вдох давался тяжелее предыдущего, царапал горло изнутри мелкой, острой крошкой.

Далеко ещё?

Не знаю, — честно ответил Сирин, и эта честность, лишённая привычной насмешки, напугала её едва ли не больше самого пожара. *Я чувствую направление, не расстояние.*

Иди. Остановишься — придётся выбирать между дымом и тем, что идёт следом за дымом, а второе едва ли лучше первого.

Она не стала спрашивать, что он имел в виду под «тем, что идёт следом». Какая-то часть её — та самая, что научилась в клетке не задавать вопросов, ответы на которые только удлинняют список вещей, которых стоит бояться, — решила, что сейчас не время уточнять.

Дверь впереди была заперта. Не той тяжёлой, окованной, что вела в ритуальный зал, — обычная, деревянная, из тех, что ведут в кладовые или кельи послушников, каких она успела разглядеть краем глаза ещё по дороге сюда, три месяца назад, когда её только вели в клетку и она ещё пыталась запомнить дорогу, наивно веря, что запомненное однажды пригодится.

Забава толкнула её плечом, ожидая сопротивления, готовясь, что придётся бить снова и снова, тратя те немногие силы, что ещё оставались в измученном теле.

Дверь открылась легко. Слишком легко — так открываются двери, которые кто-то недавно и совсем не случайно оставил на одну щеколду, а не на две, зная заранее, что однажды кому-то понадобится пройти этим путём быстрее, чем позволяет обычная предосторожность.

Странно, — заметил Сирин, и в этом единственном слове было столько настороженности, сколько не помещалось в целые фразы, сказанные им раньше этим вечером.

Может, повезло.

— Тебе никогда не везло. Ни разу за три месяца. С чего бы сегодня начать.

Она не нашлась, что на это ответить — отчасти потому, что он был прав, отчасти потому, что дым позади становился гуще с каждым мгновением промедления, толкая её вперёд быстрее, чем позволяли раздумья. Она шагнула в проём.

За дверью пол резко обрывался вниз — не пропастью, но крутой, узкой лестницей, ведущей в темноту такую плотную, что даже отсвет пожара за спиной не проникал дальше первых нескольких ступеней. Холод оттуда поднимался иначе, чем холод коридоров обители, — не спёртый, не подвальный, а какой-то более честный, будто там, внизу, воздух наконец переставал притворяться, что всё ещё подчиняется человеческим порядкам.

Она замерла на пороге, одной рукой всё ещё зажимая порез на шее, другой держась за косяк, и на мгновение — короткое, постыдное мгновение — почувствовала острое, почти детское желание просто остаться здесь, на границе между огнём позади и неизвестностью впереди, и позволить кому-то другому решить, куда двигаться дальше.

Мы не можем стоять, — тихо сказал Сирина, будто услышав это желание раньше, чем она успела облечь его в мысль. *Что бы ни было внизу, оно хотя бы не горит.*

Хотя бы что-то.

— Именно. Учись радоваться малому. Другого сегодня,

боюсь, не предвидится.

Она сделала первый шаг вниз, в темноту, и лестница отозвалась под её ногами тихим, деревянным скрипом — не тревожным, скорее усталым, как скрипит вещь, которой давно не пользовались, но которая всё ещё помнит, как это делается.

Сзади, там, где остался коридор, дым наконец нашёл себе прямой путь и хлынул следом за ней в проём — густой, тёплый, почти живой в том, как он льнул к спине, будто и он тоже не хотел отпускать её так легко.

Забава сделала второй шаг. Третий. Считала — не потому, что это могло помочь, а потому что счёт был единственным, что ещё оставалось её собственным, неоспоримым, в мире, где всё остальное только что перестало быть предсказуемым.

И на четвёртой ступени, там, где темнота внизу уплотнялась в нечто уже почти осязаемое, она различила силуэт — неподвижный, ждущий, стоящий к ней спиной у самого начала лестницы, будто был там всегда, задолго до того, как она вообще решила бежать в эту сторону.

Старик на лестнице

Он не обернулся сразу — и именно это, а не сама его неподвижность, заставило Забаву замереть на четвёртой ступени, не решаясь спуститься ниже.

Не тот, с редкой бородой, что стоял в центре ритуального круга. Другой — сгорбленный, в такой же чёрной рясе, как у служителей с сундуком, только более ветхой, будто её носили не одно поколение, передавая от учителя к ученику вместе со всем прочим, что полагалось хранить в этих стенах. Лица она не видела — только затылок, редкие седые волосы, слипшиеся от старости, и то, как неподвижно, неестественно неподвижно он стоял, будто ждал её здесь давно, зная точное мгновение, когда дверь откроется.

Дым позади уже начинал заполнять и лестничный пролёт, стелясь по потолку сизой, ленивой волной, но старик, казалось, не замечал его вовсе — не кашлял, не морщился, стоял так же прямо, как стоят те, для кого дым — не первая беда на их веку и, вероятно, далеко не последняя.

Не нравится мне это, — тихо произнёс Сирин, и впервые за ночь в его голосе не было ни насмешки, ни голода — только настороженность, глубокая, почти звериная. Он пахнет неправильно. Не как человек. Не как волхв. Как что-то, что носит и то, и другое, снявши однажды и не надев обратно до конца.

Что это значит?

— Значит, что я не знаю, кто перед нами. А я не люблю не знать. За три тысячи лет это случилось со мной реже, чем ты думаешь.

Забава медленно спустилась ещё на ступень, не сводя глаз с неподвижной спины старика. Что-то в этой неподвижности казалось хуже любого резкого движения — так замирают хищники, для которых замереть означает вовсе не безопасность, а лишь иной, более терпеливый способ охоты.

— Вниз, — сказал он вдруг, и голос его прозвучал сухим, тихим, лишённым того страха, что звенел во всех остальных голосах этой ночи — ни в младших служителях, ни даже в самом Кручине она не слышала подобного спокойствия, спокойствия, которое не притворялось спокойствием, а было им на самом деле, до самого основания. — Тринадцать ступеней. На четырнадцатой — свет. Не останавливайся считать.

— Кто ты? — спросила она, и голос вышел чужим, сорванным после крика, будто принадлежал кому-то другому, менее уверенному в себе, чем ей хотелось бы казаться в эту минуту.

Старик не обернулся.

— Тот, кто трижды забывал щеколду, — сказал он, и в этом ответе не было ни гордости, ни объяснения — просто факт, брошенный через плечо, как бросают монету нищему, не глядя, кому именно. — Иди. Дальше я не провожатый.

Она стояла ещё мгновение, чувствуя, как за спиной дым

сгущается всё плотнее, подталкивая её вперёд своим присутствием, но что-то — не страх уже, а какое-то более глубокое, почти детское желание понять, прежде чем подчиняться, — удерживало её на месте.

— Почему ты мне помогаешь?

Плечи старика едва заметно дрогнули — не от вопроса, показалось ей, а от чего-то другого, что вопрос всколыхнул внутри него, чего-то, что он не собирался озвучивать этой ночью, да и, возможно, ни одной другой ночью в обозримом будущем.

— Потому что три раза — это много для щеколды и мало для долга, — сказал он тихо, почти неслышно, и в этих словах, странно построенных, будто вывернутых наизнанку, ей почудилось эхо чего-то куда более старого, чем сама обитель, в которой они стояли. — Больше вопросов не будет. Ни сейчас, ни здесь.

Он лжёт? — быстро спросила она мысленно, обращаясь к Сирину, отчаянно needing хоть в каком-то ориентире среди этой навязчивой, неправильной тишины.

Не лжёт, — медленно ответил Сирин, и в его голосе звучало неохотное, почти вынужденное признание. *Хуже. Говорит правду так, чтобы ты не смогла понять её целиком. Это куда опаснее прямой лжи, Забава. Ложь можно опровергнуть. Половину правды — только прожить и понять слишком поздно, что она значила на самом деле.*

Дым позади качнулся — не от ветра, а будто что-то, нако-

нец, начало прокладывать себе путь сквозь горящую дверь наверху, — и этот звук, глухой и близкий, окончательно вытолкнул Забаву из недолгого, зыбкого равновесия между любопытством и необходимостью бежать.

— Хорошо, — сказала она вслух, скорее себе, чем ему. — Тринадцать ступеней.

Она начала спускаться быстрее, считая — шаг, ещё шаг, — стараясь не смотреть на сгорбленную фигуру, мимо которой ей предстояло пройти, чтобы оказаться внизу. Когда она поравнялась с ним, воздух вокруг на мгновение стал тяжелее, гуще, будто сам старик излучал не тепло и не холод, а что-то третье, чему у неё не было названия, — присутствие настолько плотное, что кожа отзывалась на него раньше разума.

Он не пошевелился, не повернул головы, но она успела заметить — краем глаза, на самой границе зрения, — то, чего не должна была бы заметить в такой темноте: под опущенными веками старика, там, где полагалось быть обычным человеческим глазам, что-то тускло, почти неуловимо поблёскивало, как блестит лёд под тонким слоем снега, если посмотреть на него под правильным углом.

Она не стала останавливаться, чтобы разглядеть внимательнее. Что-то в глубине груди — не Сирий на этот раз, а её собственный, чисто человеческий инстинкт — подсказывало, что рассматривать подобные вещи пристальнее означает пригласить их посмотреть на тебя в ответ.

Семь. Восемь. Девять ступеней.

Он смотрит нам вслед, — тихо заметил Сирина, когда она миновала середину лестницы. Не глазами. Чем-то другим. Не оборачивайся.

Она и не собиралась.

Одиннадцать. Двенадцать.

На тринадцатой ступени она остановилась, как и было велено, хотя всё в ней требовало бежать дальше без остановки, и обернулась — один-единственный раз, вопреки предупреждению Сирина, потому что не обернуться оказалось свыше её сил.

Лестница позади была пуста.

Ни старика, ни его сгорбленной тени, ни малейшего следа того, что он вообще стоял там мгновение назад, — только дым, стелющийся по верхним ступеням, ищущий, куда бы просочиться дальше, и тишина, куда более полная, чем позволяла тишина обычного пустого коридора.

Забава, — тихо позвал Сирина, и впервые за долгое время в его голосе не было ни насмешки, ни привычной иронии — только настоящая, неприкрытая тревога. Четырнадцатая ступень. Он сказал не останавливаться считать. Может, стоит ему поверить хотя бы в этом.

Она сделала последний шаг — и мир вокруг неё переменился.

Наружу

Свет, о котором говорил старик, оказался не факелом и не пожаром — обычной ночью, серой, безлунной, льющейся через щель в каменной кладке там, где стена обители переходила в живой, мёртвый ствол одного из тех дубов, из которых её когда-то и вырастили. После крошечной темноты лестницы даже этот скудный, почти нищенский свет ударил по глазам с силой, для которой не находилось разумного объяснения, — она зажмурилась, проморгалась, и только потом позволила себе разглядеть щель внимательнее.

Узкая. Слишком узкая, на первый взгляд, для человеческого тела, — но выбирать не приходилось, а позади, наверху, уже слышался новый, нарастающий гул, будто огонь наконец нашёл себе путь и туда, где она недавно разговаривала с неподвижной спиной старика.

Забава протиснулась в щель, ободрав плечо о кору, твёрдую и холодную, как сама обитель, — и почувствовала, как ткань на рукаве расходится с тихим, почти обиженным треском, будто последняя вещь, связывавшая её с этими стенами, отказывалась отпустить без хотя бы такой, символической платы.

И оказалась снаружи.

Холод ударил в лёгкие раньше, чем она успела вдохнуть осознанно — настоящий, без слоя тепла клетки, без духо-

ты коридоров, тот самый холод, который она помнила лишь смутно, издалека, как помнят детский сон спустя годы. Три месяца под землёй отучили тело от очевидного: от того, что воздух может быть настолько острым, что режет горло при каждом вдохе, что мороз способен добраться до костей быстрее, чем разум успевает это осознать и хоть как-то подготовиться.

Снег скрипнул под ногами так, как не скрипел под ногами волхвов уже много лет, — нетронутый, девственно ровный там, куда не доходили протоптанные тропы обитатели, и этот звук, нелепо бытовой среди всего, что творилось за спиной, показался ей на мгновение почти прекрасным. Позади, сквозь щель в стволе, доносился гул — далёкий, приглушённый, то ли пожар, то ли крики, то ли и то, и другое сразу, слитые в один неразборчивый, затихающий хор.

Она сделала три шага и упала на колени — не от слабости, хотя слабость тоже была, тяжёлая, вязкая, разлившаяся по всему телу после крика и бегства, а потому что впервые за три месяца под ногами оказалась не каменная плита, а земля, настоящая, мёрзлая, живая под коркой льда. Что-то в этом простом факте — земля вместо камня, небо вместо свода — оказалось настолько огромным, что колени подогнулись сами, без её на то согласия.

Она подняла голову.

Небо было тем же, каким она его помнила, — багровым, погасшим, безрадостным, но оно было настоящим, откры-

тым, без единой стены между ней и его бесконечной, безучастной ширью, и от одного этого зрелища на глаза навернулись слёзы, которые она тут же сердито смахнула тыльной стороной ладони, не желая тратить их на что-то настолько предсказуемое, как облегчение.

Мы живы, — подумала она, будто эта мысль нуждалась в отдельном, произнесённом хотя бы про себя подтверждении.

Живы, — эхом откликнулся Сирин, и в его голосе прозвучала та же самая, редкая для него искренность, что звучала весь этот вечер чаще, чем за все три предыдущих месяца вместе взятых. *Хотя, признаться, я закладывался на меньшее.*

Спасибо за доверие.

— Не за что. Доверие тут ни при чём — только статистика.

Она хотела было ответить что-то в тон, но тут ладонь, которую она прижимала к груди с самого зала, вдруг обожгло — резко, остро, будто там, где она держала руку, кто-то приложил раскалённый уголь. Забава вскрикнула — коротко, невольно — и разжала пальцы.

На ладони, тускло мерцая золотисто-багровым сквозь кожу, лежал маленький, неровный камень — не больше грецкого ореха, тёплый настолько, что вокруг него уже таял снег, стекая тонкими дрожащими нитями, будто камень был не камнем вовсе, а маленьким, живым солнцем, случайно оброненным кем-то на снег посреди самой холодной ночи в её жизни.

Она смотрела на него — заворожённо, не сразу понимая, что видит.

Ты его взяла, — тихо сказал Сирин. В голосе было что-то, чего она не слышала у него раньше — не насмешка, не голод. Оторопь, неподдельная, почти детская в своей растерянности. *Когда? Я не почувствовал.*

Я тоже.

Она перебирала в памяти последние минуты в зале — крик, разлетающиеся лампы, нож, упавший из ослабевших пальцев, — и не находила там ни единого момента, когда бы её рука потянулась к сундуку, где, она знала теперь, годами хранилось то самое Око, о котором младшие волхвы шептались с той особой, испуганной почтительностью, с какой говорят о вещах, способных решить исход любой войны в одно мгновение.

Она смотрела на Око в своей руке и понимала — по-настоящему, не разумом, а тем же местом в груди, где жил Сирин, — что не помнит, как оно там оказалось. Не помнила, чтобы тянулась к сундуку, не помнила, чтобы искала. Оно просто было теперь с ней, будто выбрало само, в тот единственный миг, когда весь зал был занят чем-то другим, слишком занят, чтобы заметить, как маленький камень меняет хозяина.

Может, оно упало мне в руку случайно? Взрывом?

Может, — согласился Сирин, но в тоне его не было ни капли убеждённости. *А может, оно давно ждало повода уй-*

ти оттуда и просто воспользовалось первой же рукой, которая оказалась достаточно близко и достаточно занята чем-то другим, чтобы не заметить, как её обкрадывают в собственную пользу.

Звучит так, будто оно живое.

Всё, что достаточно долго ждёт своего часа, начинает казаться живым, — сказал Сирин, и в этом ответе было больше философии, чем она готова была переварить сейчас, замёрзшая, обессиленная, сидящая на коленях посреди снега в паре десятков шагов от горячей обители. Позже подумаем, что оно такое на самом деле. Сейчас — сожми его снова, спрячь получше и вставай. Тепло, которое оно даёт, — единственное тепло, что у нас есть на много вёрст вокруг, и тратить его на созерцание — расточительство, которого мы не можем себе позволить.

Она послушалась — сжала камень в кулаке, снова почувствовав ту же обжигающую остроту, что и минуту назад, только теперь встретила её иначе, почти с благодарностью: боль, по крайней мере, была настоящей, была её собственной, в отличие от почти всего остального, что произошло с ней этой ночью.

Позади, за стеной, гул стал тише. Кто-то там наконец начал тушить пожар, или сдался, — она не могла определить, что именно, да и не была уверена, что хочет знать наверняка.

Она заставила себя подняться на ноги — колени дрожали, отвыкшие от долгого стояния, а тем более от бега, но держа-

ли, — и в первый раз за три месяца по-настоящему огляделась вокруг: не в поисках угрозы, не в поисках пути к спасению, а просто чтобы увидеть, каким стал мир за то время, что она провела взаперти.

Он был холоднее, чем она помнила. Темнее. И всё же — живой, настоящий, открытый во все стороны сразу, и от одной этой открытости у неё перехватило дыхание сильнее, чем от самого мороза.

— Идём, — сказала она Сирину, зажимая Око снова в кулак, несмотря на боль. — Пока нас не хватились по-настоящему.

— Идём, — согласился он. — Только куда — решать буду не я один в этот раз.

Она сделала первый шаг прочь от стены обитали — неуверенный, шаткий, но свой собственный, — и лес впереди, тёмный, безмолвный, ждущий, казался ей в эту минуту куда менее пугающим, чем всё, что она оставляла позади.

У пепла

Пожар удалось сбить только к тому часу, когда небо — насколько вообще можно было судить о часах по небу, не менявшему цвет уже который год, — начало хотя бы номинально светлеть, отмечая наступление того, что здесь по старой памяти ещё называли утром.

Кручин стоял на пороге того, что осталось от главного зала, и смотрел на дело рук своих учеников — мокрые от снега, которым заливали огонь, обугленные балки, лужи талой воды пополам с сажей, растёкшиеся по каменному полу, и то небольшое, что уцелело от некогда безупречного порядка ритуального круга: несколько погнутых чаш, оплавленный остаток одной из лампад, странно неповреждённый среди всеобщего разрушения.

Сундука не было.

Он не сразу позволил себе задержаться на этой мысли — сначала прошёлся взглядом по залу ещё раз, ещё, будто повторный осмотр мог изменить очевидное, будто сундук просто затерялся среди обломков, а не исчез вместе с той, кого он был призван удерживать в узде. Но чем дольше он смотрел, тем яснее становилось: обломки крышки — да, вот они, отброшенные к дальней стене взрывом или паникой. Само же Око, лежавшее внутри веками, не пролежавшее вне сундука ни одной ночи с тех пор, как обитель им завладела, —

исчезло без следа.

— Учитель.

Он обернулся. Один из уцелевших служителей — тот, что держался за перевязанное ухо, всё ещё бледный, но уже способный держаться на ногах без посторонней помощи, — остановился в нескольких шагах, явно не решаясь подойти ближе без прямого разрешения.

— Докладывай, — сказал Кручин, и голос его прозвучал ровнее, чем он сам от себя ожидал, — привычка, отточенная десятилетиями практики держать лицо и голос отдельно от того, что творилось внутри.

— Раненых семеро, — начал служитель, явно повторяя про себя заготовленный список, чтобы не сбиться. — Двое — тяжело, кровь из ушей до сих пор не остановилась полностью. Первуша и Ставр не найдены нигде в обители. Мы искали, учитель. Их нет ни в кельях, ни в кладовых, ни среди раненых.

— Сбежали, — коротко сказал Кручин, не столько спрашивая, сколько подтверждая для себя то, о чём уже догадался, увидев пустоту на месте, где младшие обычно держались подле старших.

— Возможно, учитель. Или...

— Или, — оборвал его Кручин, не давая договорить очевидное, не нуждаясь в том, чтобы кто-то озвучивал вслух мысль о том, что двое его учеников могли погибнуть в огне так же легко, как и сбежать от него. Обе версии одинаково

не годились для того, чтобы тратить на них время сейчас, когда куда более насущная проблема лежала перед ним в виде пустого, обугленного сундука. — Пришли ко мне тех, кто разбирает завалы у бокового прохода. Хочу знать, куда вела дорога, которой она воспользовалась.

Служитель поклонился — коротко, неловко, всё ещё держась за ухо, — и поспешил прочь, оставляя Кручина одного посреди разрушенного зала, наедине с той мыслью, которую он до сих пор гнал от себя всеми доступными средствами.

Он подошёл к тому месту, где прежде стоял сундук, и опустился на одно колено, не заботясь о том, что роба испачкается в мокрой золе, — жест, недостойный его положения, но сейчас, когда никто из младших не мог видеть его лица, позволительный.

Обломки крышки лежали здесь же, разбросанные взрывной волной крика, и на одном из них, там, где дерево треснуло особенно глубоко, он различил тонкий, едва заметный след — не ожога, не копоти, а чего-то иного, будто сама поверхность дерева на мгновение стала мягче обычного и приняла отпечаток чего-то небольшого, скользнувшего мимо на пути к свободе.

Оно не сгорело вместе с остальным, — подумал он, проводя пальцами по этому следу. Оно ушло вместе с ней. По собственной воле, а не по её умыслу — иначе она бы знала, что несёт, и не выглядела бы настолько потерянной, покидая это место.

Мысль не приносила облегчения. Скорее наоборот — если Око выбрало её само, не по расчёту, не по хитрости, а по какой-то собственной, непостижимой логике, значит, дело было куда серьёзнее простого побега пленницы. Значит, годы, потраченные на удержание её в клетке, годы ритуалов и допросов, годы, в которые он искренне верил, что удерживает под контролем нечто, лишь ждущее своего часа, — все эти годы, возможно, были потрачены на иллюзию контроля, а не на сам контроль.

Он поднялся, отряхивая колено, и обвёл зал последним, долгим взглядом — трещину в резном солнце над головой, погасшие лампы, тёмные пятна на камне там, где кровь его собственных учеников впиталась в древний пол, — и почувствовал, как где-то глубоко, в месте, куда он не позволял себе заглядывать без крайней необходимости, шевельнулось нечто, очень похожее на страх.

Не страх перед двоедушницей. Страх перед тем, что если она права — если Сирий действительно тот, кем его боялись назвать вслух даже самые опытные волхвы, — то всё, что обитель делала последние годы, было не приручением опасного духа, а лишь долгим, изощрённым способом разбудить его окончательно.

— Учитель, — снова позвал голос от входа — тот же служитель, вернувшийся быстрее, чем Кручин ожидал, ведя за собой ещё двоих, чьи лица были знакомы, но чьи имена в эту минуту ускользали от него, будто память тоже пострадала в

числе прочего, разрушенного этой ночью. — Мы нашли проём, которым она выбралась. Щель в стене, у бокового прохода. Следы на снегу ведут в сторону Чернолесья.

— В лес, — тихо повторил Кручин, и что-то в этом простом факте отозвалось у него в груди неожиданным, почти облегчённым выдохом. Лес был диким, опасным, полным того, что не подчинялось ни ему, ни волхвам, ни даже самому Ритуалу, — но лес был и медленным. Лес не давал коротких путей, не прощал спешки, и если она действительно направилась туда, у Лютобора, при всей его нынешней фактической независимости от прямых распоряжений, всё ещё оставался разумный шанс.

— Отправьте весть Лютобору, если он ещё не выступил, — сказал он вслух, уже разворачиваясь к выходу из зала, туда, где предстояло заняться десятками более насущных, более немедленных дел, отложив собственный страх на потом, как откладывают долг, зная, что рано или поздно его всё равно придётся платить. — И пусть кто-нибудь присмотрит за тем, чтобы никто из младших не вздумал повторить путь Первуши и Ставра, пока я разбираюсь с тем, что осталось от этого зала.

Он зашагал прочь, оставляя за спиной пустое место, где прежде хранилось то, вокруг чего строился весь смысл его многолетнего служения, и впервые за долгие годы позволил себе мысль, которую тут же попытался задавить, не додумав до конца: что если план, который он выстраивал с такой тща-

тельностью, с самого начала строился не на твёрдой земле, а на льду, столь же обманчивом, как тот, что однажды не выдержал под ногами дружины Лютобора.

Чернолесье — первые шаги

Лес принял её не сразу — сначала долго держал на расстоянии, будто проверял, стоит ли вообще пускать. Снег между стволами лежал глубже, чем у самой обители, нетронутый, и каждый шаг давался с усилием, которого Забава не помнила даже в клетке — там, по крайней мере, тело умело экономить силы, не тратя их на то, чтобы просто идти.

Первые несколько сотен шагов она считала — привычка, выработанная в камере, не желавшая отпускать её даже здесь, среди деревьев, — но сбилась где-то в районе третьей сотни, когда усталость притупила даже эту способность, оставив взамен лишь одну, самую простую мысль: шаг, ещё шаг, ещё.

Правее, — сказал Сирин. Голос его звучал глуше, будто и ему приходилось продираться через что-то, помимо снега. *Здесь спокойнее. Пока.*

Откуда знаешь?

— Не знаю. Чувствую. Разница есть, хоть ты её и не различаешь.

Она послушалась, свернула правее, и деревья здесь действительно стали реже — не привычные чёрные ели, что обступали обитель плотной, недоброй стеной, а голые, гладкие стволы, от которых веяло холодом иного рода, глубже обычной зимы, будто сам мороз здесь был старше, терпеливее,

привыкшим ждать веками, а не одну человеческую жизнь.

Ноги, обутые лишь в тонкие лёгкие туфли, давно потерявшие всякий смысл против настоящего снега, промокли и онемели настолько, что она уже не была до конца уверена, чувствует ли их вообще, — только тупую, отдалённую боль где-то на границе сознания, ту, что легко было отложить на потом, пока не появится время разобраться с ней всерьёз. Она куталась в то немногое, что осталось от её одежды после ритуала и побега сквозь тесный проём в стене, — рваная рубаха, некогда служившая одеждой для заточённой, теперь годная разве что на то, чтобы хоть немного сдерживать ветер, забирающийся под каждую прореху с той же настойчивостью, с какой вода находит трещину в камне.

На одном из голых стволов, когда она проходила мимо, Забава заметила знак — тонкие линии, будто процарапанные когтем или ножом, спиралью уходящие в кору. Она остановилась, несмотря на усталость, несмотря на настойчивый, требовательный холод, потому что что-то в этом знаке притянуло взгляд прежде, чем разум успел спросить зачем.

Знак слабо засветился — тем же золотисто-багровым, что и Око в её зажатом кулаке. Тепло в ладони на мгновение отозвалось, почти ласково, как отзывается на голос собака, давно ждавшая хозяина, и Забава, поражённая этим откликом, невольно разжала пальцы чуть шире, позволяя слабому свету Ока упасть на знак на стволе.

Его метки, — тихо сказал Сирин.

Чьи?

— Не знаю имени. Знаю только, что он ходил здесь. Или ползал. Или просто дышал, а лес запомнил.

Она провела свободной рукой по знаку, ощущая под пальцами не просто вырезанные линии, а нечто более странное — едва уловимое тепло, будто дерево под корой хранило память о прикосновении, оставившем этот след, куда дольше, чем позволяла обычная древесина.

Он живой? Тот, кто это оставил?

Был, — сказал Сирина после паузы, во время которой Забава почти физически ощутила, как он взвешивает, сколько правды безопасно выдать сейчас, посреди леса, посреди ночи, посреди её и без того перегруженного новыми открытиями рассудка. Возможно, есть до сих пор, в каком-то смысле. Не спрашивай подробнее. Я и сам знаю меньше, чем тебе хотелось бы услышать.

Она пошла дальше, время от времени натываясь взглядом на такие же знаки — на других стволах, на камнях, торчащих из-под снега, — и каждый раз Око отзывалось едва заметным теплом, будто здоровалось со старым знакомым, чьё имя давно забыло, но чьё присутствие всё ещё узнавало безошибочно. Забава перестала считать метки после седьмой — не потому что устала считать, а потому что каждая новая метка стала казаться не отдельным, случайным знаком, а частью чего-то куда более обширного, узора, растянутого на весь лес, смысл которого ей пока не полагалось по-

нимать целиком.

Ветер здесь, между стволами, звучал иначе, чем помнился ей по редким детским воспоминаниям о лесе близ родной деревни — не просто шум, а что-то похожее на низкий, протяжный выдох, будто сам лес дышал в такт её собственным, неровным, измученным вдохам. Она заставляла себя не думать об этом слишком много: усталость и без того грозила подменить реальность видениями, а разбираться, что из услышанного настоящее, а что — плод изнурённого разума, сейчас было непозволительной роскошью.

Снег под ногами постепенно менялся — становился то глубже, проваливаясь под каждым шагом почти по колено, то неожиданно твёрже, покрытый настом, который трескался под весом с резким, режущим слух звуком. Она несколько раз оступалась, один раз упала на бок, оцарапав ладонь о скрытую под снегом ветку, и каждый раз поднималась медленнее предыдущего, чувствуя, как тело всё настойчивее требует остановки, отдыха, хоть какой-то передышки от бесконечной ходьбы.

— Долго ещё? — спросила она вслух, не заботясь больше о том, чтобы держать разговор с Сирином внутри себя, — усталость стёрла и эту границу, как стирала уже многое другое этой ночью.

Не знаю, — честно ответил Сирин. Я не карта этого леса, Забава. Я просто чувствую, где безопаснее, а где нет. Это не одно и то же со знанием, куда мы в итоге придём.

Утешительно.

— Я никогда не обещал тебе утешения. Только честность, когда она у меня есть.

Она усмехнулась — устало, почти беззвучно, — и продолжила идти, потому что останавливаться означало признать усталость победительницей, а этого она не собиралась допускать, во всяком случае не этой ночью, не после всего, что уже успела пережить и вытерпеть.

Деревья впереди начали редеть, открывая взгляду небольшую прогалину, залитую тем же скудным, серым светом, что и всё небо этой ночи, и Забава, заметив открытое пространство, ускорила шаг настолько, насколько позволяли онемевшие, едва слушающиеся ноги, — не потому что прогалина обещала безопасность, а потому что любое изменение пейзажа казалось сейчас достаточным поводом двигаться быстрее, лишь бы оставить позади хотя бы часть этой бесконечной, однообразной чащи.

Доверие и его цена

Прогалина оказалась меньше, чем показалось издалека, — просто разрыв в стене деревьев, где старая, поваленная бурей сосна расчистила себе достаточно места, падая, и с тех пор никто из леса не потрудился заполнить эту брешь заново. Забава остановилась у самого края, тяжело дыша, и позволила себе на несколько мгновений просто стоять, не двигаясь, глядя в серое, беззвёздное небо, открывшееся над головой без привычной уже преграды из голых ветвей.

— Сирин.

— М?

Там, в зале. Ты сказал: «потом решим». Что решим?

Он не ответил сразу — и в этом молчании, куда более долгом, чем требовал простой вопрос, Забава почувствовала что-то, чему не находила названия: не уклонение, скорее осторожность существа, взвешивающего, сколько правды можно позволить себе сказать, не разрушив того немногого, что ещё держалось между ними после всего пережитого этой ночью.

— Решим, кто из нас двоих сегодня главный, — сказал он наконец. — Пока что главная ты. Я это уважаю. Не привык — но уважаю.

А если бы я не была?

— Тогда бы мы сейчас не разговаривали. Ты слушала бы

меня, а не наоборот, и разговор этот звучал бы совсем иначе.

Страшнее?

— Честнее, — ответил он, и в этом слове было куда больше веса, чем в любой из его прежних насмешек. — А честность и страх редко идут порознь, если разобраться.

Она опустилась на ствол поваленной сосны, чувствуя, как холод коры мгновенно просачивается сквозь тонкую ткань рубахи, но не находя в себе сил стоять дольше необходимого. Усталость навалилась разом, как навалилась и тяжесть в её руках, когда она держала то странное дитя, — не физически такая же, но по ощущению схожая: неотвратимая, неостановимая, требующая уступить хотя бы на несколько мгновений.

Ты боишься меня?

Вопрос вышел мысленно прежде, чем она успела его обдумать, вырвался откуда-то из глубины, где усталость стёрла привычную осторожность, с которой она обычно строила разговоры с существом, живущим под её рёбрами уже три с половиной месяца, а на самом деле, судя по обмолвкам этой ночи, — куда, куда дольше.

Боюсь того, что будет, если однажды перестану, — сказал Сирий тихо, почти буднично, будто произносил это не впервые, просто впервые вслух. *Пока боюсь — слежу за собой. А слежу за собой — значит, слежу и за тобой заодно. Считай это неудобной формой заботы, если тебе так легче это принять.*

Не самая тёплая забота, что я слышала.

— У меня было мало практики, — ответил он сухо, но в этой сухости не было прежней насмешливой защиты — скорее что-то похожее на смущение, если существо, столь древнее, вообще способно смущаться. — Последний раз я о ком-то заботился так давно, что забыл, полагается ли говорить об этом вслух или просто делать молча.

Она сидела, обхватив себя руками, стараясь сохранить хоть немного тепла, и думала о том, как странно устроен этот разговор — доверительнее любого, что она вела с живым, обычным человеком за последние три месяца, и всё же ведущийся с существом, о природе которого она знала едва ли больше, чем в первый день их вынужденного соседства.

Когда ты в последний раз о ком-то заботился?

Пауза. На этот раз действительно долгая — настолько, что Забава успела различить далёкий, едва слышный вой, короткий и одинокий, где-то за пределами прогалины, и невольно напряглась, прежде чем звук стих так же внезапно, как возник.

Давно, — сказал наконец Сирин, и в этом единственном слове была вся тяжесть, которую он явно не собирался распаковывать дальше этой ночью. Настолько давно, что если бы я рассказал тебе как следует, ты бы решила, что я лгу, — не потому что я склонен ко лжи, а потому что правда прозвучала бы неправдоподобнее любой выдумки.

Попробуй.

— Не сегодня, — повторил он ту же фразу, что говорила ей в клетке перед самым ритуалом, и в этом повторении Забава уловила нечто вроде закономерности: он умел признавать существование правды, не будучи готовым делиться ею целиком, и, кажется, эта осторожность была вплетена в него глубже, чем любая насмешка или голод.

Она не стала настаивать. Часть её — усталая, замёрзшая, всё ещё звенящая эхом собственного крика — хотела бы получить ответы немедленно, все и сразу, чтобы хоть немного разгрузить тот тяжёлый узел неизвестности, что копился внутри неё с первого дня в клетке. Но другая часть, более взрослая, чем позволял её возраст, понимала: то, что Сирина выдавал по крупницам, было не жадностью и не игрой, а единственным способом, каким он умел справляться с тем, что явно превышало и его собственные силы этой ночью.

Хорошо, — сказала она наконец. Не сегодня. Но когда-нибудь.

— Когда-нибудь, — согласился он, и в его голосе прозвучало что-то похожее на облегчение — не радость, а именно облегчение существа, которому дали отсрочку, за которую оно благодарно, даже понимая, что отсрочка не длится вечно.

Воздух становился тяжелее с каждой минутой, что она сидела здесь, — не от мороза, от чего-то ещё, чему она не могла подобрать слова. Запах хвои смешивался с запахом сырой земли, прелых листьев, и под этим — едва уловимо — чем-

то ещё. Не дымом обители. Другим.

Она поднялась со ствола, чувствуя, как тело затекло от короткого, но необходимого отдыха, и сделала шаг обратно в сторону деревьев, туда, где прогалина снова смыкалась в плотную стену стволов.

Ты боишься меня? — снова спросила она, на этот раз не мысленно, а почти шёпотом, вслух, будто хотела услышать собственный вопрос со стороны, прежде чем окончательно принять его как часть себя.

Стой, — резко сказал Сирин, и голос его мгновенно переменялся — вся недавняя мягкость исчезла, сменившись настороженностью, острой, как лезвие, приставленное к горлу совсем недавно.

Она замерла.

— Слышишь?

Забава прислушалась. Сначала — ничего, только собственное дыхание, хриплое после крика, и скрип снега под сапогами, которые, кажется, она где-то потеряла ещё в обители — ноги давно онемели настолько, что она не могла вспомнить, босая она или нет.

Потом — тонкий, едва различимый звук. Плач.

Плач в снегу

Детский, захлёбывающийся, где-то впереди, между деревьями, там, где снег казался особенно нетронутым, особенно ровным, будто специально расчищенным для того, чтобы что-то на нём было хорошо видно.

Не ходи, — тихо, но твёрдо сказал Сирин.

Там ребёнок.

— Там звук ребёнка. Это не одно и то же, и ты это знаешь не хуже меня.

Она знала. Разум её, измученный, но всё ещё способный складывать очевидные вещи в очевидные выводы, прекрасно понимал логику предупреждения: откуда в глубине зимнего, безлюдного леса, в паре часов пешего хода от ближайшего человеческого жилья, взяться брошенному младенцу, да ещё именно там, куда она случайно свернула, именно тогда, когда её силы и без того были на исходе. Слишком много совпадений для одной ночи, и без того щедрой на необъяснимое.

И всё равно она сделала шаг вперёд — потому что три месяца в клетке отучили её от многого, но не от того, что плачущий в темноте заслуживает хотя бы взгляда, прежде чем его можно будет со спокойной совестью обойти стороной.

Я не могу просто уйти, Сирин. Даже если ты прав.

— Знал, что ты это скажешь, — отозвался он с той особой, тяжёлой интонацией, что появлялась у него всегда, ко-

гда он предвидел неизбежное и всё же не мог удержаться от последней попытки его предотвратить. — Тогда хотя бы иди медленно. И слушай меня, если я скажу остановиться, — без вопросов, без «но».

Обещаю.

Она пошла на звук — осторожно, стараясь ступать как можно тише, хотя каждый шаг всё равно отдавался предательским скрипом снега под ногами, — и с каждым метром плач становился отчётливее: тонкий, надрывный, с той конкретной интонацией отчаяния, что невозможно подделать и невозможно проигнорировать, сколько бы холодных доводов ни звучало внутри головы.

Деревья впереди расступались, открывая небольшую поляну, залитую тем же скудным светом, что и всё небо этой ночи, и в самом центре этой поляны, на утоптанном, странно ровном пятачке снега, она различила силуэт — маленький, скорчившийся, шевелящийся с той характерной, беспомощной дёрганостью, что свойственна только самым младшим, самым беззащитным существам.

Она замерла на границе поляны, не решаясь сделать последний шаг.

Посмотри на снег вокруг, — быстро, требовательно сказал Сирин. Ни следа. Ни его, ни чьего-либо ещё. Как оно сюда попало без единого следа?

Может, замело.

— За то время, что мы шли сюда? Снег не идёт, Забава.

Я бы почувствовал.

Она взгляделась внимательнее, и с холодной, отрезвляющей ясностью осознала, что он прав: вокруг ребёнка снег лежал идеально ровным ковром, без единой вмятины, без единого следа, ведущего к этому месту или от него, — будто существо просто появилось здесь, посреди поляны, минуя необходимость идти, ползти или каким-либо иным привычным способом преодолевать расстояние.

Дитя закричало громче — тонко, пронзительно, и в этом крике было что-то настолько убедительно, настолько безошибочно похожее на настоящую человеческую боль, что все доводы разума, вся логика отсутствующих следов на мгновение отступили перед куда более древним, куда более властным инстинктом, живущим в каждом человеке независимо от того, сколько горького опыта он успел накопить.

Забава почувствовала, как её собственные руки, помимо воли, потянулись вперёд.

Я не могу просто уйти.

— Можешь. Я видел, как ты можешь многое, чего не должна была мочь. Это — не труднее.

Но она уже сделала шаг. Потом ещё один. Снег здесь был мягче, чем должен быть в такой мороз, будто под ним что-то грело изнутри — не так, как греет Око, зажатое в её второй руке, а иначе, чем-то похожим на гнилое тепло погребя, где годами хранят то, что давно испортилось, но ещё не успело истлеть окончательно.

Сирин, послушай. Если я права — если это правда ребёнок, брошенный кем-то в такую ночь, — я не смогу жить с тем, что прошла мимо. А если ты прав...

— Если я прав, ты, возможно, не будешь жить вовсе, — резко закончил он за неё, и в его голосе прозвучал страх, настоящий, неприкрытый, тот самый, что она уже слышала однажды, у резной фигуры в коридоре обители. — Забава. Пожалуйста. Один раз за эту ночь — послушай меня без спора.

Она остановилась в нескольких шагах от съёжившегося на снегу тельца, и на мгновение — короткое, отчаянное мгновение — в ней действительно шевельнулось сомнение, готовность отступить, послушать голос, который весь этот вечер не подводил её ни разу.

Но тельце вздрогнуло, плач сорвался в надрывный, захлёбывающийся всхлип, и что-то в этом звуке — что-то настолько простое, настолько близкое к самой сути человеческого сострадания, — оказалось сильнее любых доводов, любых предупреждений, любой логики отсутствующих следов на снегу.

Прости, — сказала она мысленно, зная, что это не то извинение, которого он хотел бы услышать, но единственное, какое она была способна предложить в эту минуту. *Я должна посмотреть.*

Она сделала последний шаг и опустилась на колени рядом с ребёнком, протягивая руки.

Тяжесть

Тельце было холодным — ожидаемо холодным, как и полагается брошенному на снегу ребёнку, — но лёгким, слишком лёгким, почти невесомым, когда она подняла его и прижала к груди рядом с зажатым кулаком, в котором пульсировало Око.

Вблизи оно выглядело ещё более беззащитным, чем издаля, — крохотные кулачки, прижатые к груди, синюшная от холода кожа, тонкие, почти прозрачные веки, дрожащие над закрытыми глазами. Ни единой черты, которая выдавала бы неправильность, ни единого признака той опасности, о которой предупреждал Сирин, — только замёрзший, беспомощный ребёнок, каких, она знала это по прежней жизни, оставляют иногда у порогов церквей матери, доведённые до отчаяния голодом или позором.

Плач оборвался разом.

Забава, — тихо, ровно произнёс Сирин, и в этой ровности было больше ужаса, чем в любом крике. *Положи его. Сейчас же.*

Оно перестало плакать. Может, просто согрелось.

— Оно не грелось. Оно ждало, пока ты возьмёшь его на руки.

И тогда она почувствовала это сама — медленно, неотвратимо: тяжесть.

Сначала едва заметная, будто ребёнок просто завозился, устраиваясь удобнее у неё на руках, — тот естественный, почти умильный жест, каким устраиваются все младенцы, ищущие тепла чужого тела. Потом отчётливее — руки, уже дрожавшие от усталости и холода, начали сгибаться под весом, которого секунду назад не было. Забава взглянула вниз.

Лицо ребёнка не изменилось. Всё те же закрытые глаза, тот же приоткрытый в безмолвии рот, застывший в форме недавнего плача, будто маска, оставленная кем-то после спектакля. Только вес всё рос — фунт за фунтом, будто под тонкой кожей младенца прибывал камень, невидимый, неостановимый, наливающийся тяжестью изнутри, там, где полагалось быть только детской, хрупкой лёгкости.

Брось его, — почти выкрикнул Сирин. *Сейчас же, слышишь меня?*

Она попыталась. Руки не слушались — не потому, что не хотели, а потому, что тяжесть уже прижимала их к телу, сгибала плечи вперёд, вниз, туда, где снег начинал проседать под её собственными коленями с тихим, зловещим потрескиванием, будто под тонкой коркой льда скрывалась вовсе не земля, а нечто куда менее твёрдое.

Не могу.

— Можешь. Разожми пальцы.

Не получается, Сирин, оно... — она задохнулась, потому что вес наконец дошёл до груди, до лёгких, прижав их так, что каждый вдох давался с трудом, будто она пыталась ды-

шать через толщу воды, — *оно не даёт.*

Она попробовала разжать пальцы силой — сначала одной руки, потом другой, — но что-то удерживало их сомкнутыми вокруг тельца, не физически даже, а той более глубокой, более настойчивой хваткой, что заставляет руку матери держать падающего ребёнка даже ценой собственной жизни, — только здесь эта хватка была вывернута наизнанку, обращена против неё самой, использована против того самого инстинкта, что она с такой гордостью считала неотъемлемой частью себя.

Снег под ней трескался, проседая всё глубже, и она поняла с той ясностью, что приходит только в последний момент: не ребёнок тянул её вниз. Земля внизу, под тающим снегом, была вовсе не землёй — темнота там ждала так же терпеливо, как ждало всё это дитя, с самого начала зная, что рано или поздно кто-нибудь остановится на плач.

Сирин, — мысленно позвала она, чувствуя, как паника, до сих пор сдерживаемая усталостью и потрясением, наконец прорывается наружу полновесным, животным ужасом. *Сирин, помоги мне.*

— Я не могу разжать твои пальцы вместо тебя, — сказал он, и в его голосе, кроме страха, прозвучало что-то похожее на отчаяние существа, привыкшего к силе, но столкнувшегося с ловушкой, для которой сила не годилась в принципе. — Это должна сделать ты. Найди то, что тяжелее этого веса, Забава. Оно есть. Оно всегда есть.

Что?

— Не знаю! Ищи!

Колени подкосились. Забава упала — вперёд, вниз, в снег, который больше не казался просто снегом, а чем-то похожим на зыбкую, готовую расступиться корку над пропастью, — и в панике, в самое последнее мгновение перед тем, как земля должна была окончательно поглотить их обеих, она вдруг вспомнила — не мысль, а образ, вспышку — маленький сноп на заброшенном поле, которого она никогда не видела, но каким-то образом, будто через саму землю под собой, вдруг ощутила: где-то далеко, в будущем, которого ещё не случилось, кто-то преклонит колени точно так же, как преклоняет их она сейчас, но с иной целью — не брать, а отдавать.

Мысль была нелепой, оборванной, не имеющей никакого отношения к происходящему, — и всё же в это единственное, растянутое мгновение она отчётливо поняла: она не хочет брать то, что предлагает ей эта тварь под видом ребёнка. Не хочет тяжести, которая душит, не давая ничего взамен.

Она разжала пальцы.

Это далось не силой рук — силы там уже не осталось, — а чем-то другим, более глубоким, будто сама решимость отказать от несправедного веса оказалась достаточной, чтобы хватка, державшая её ладони сомкнутыми, наконец ослабла.

И в этот самый миг где-то совсем рядом, слишком близко, чтобы быть просто звуком леса, раздалось низкое, рычащее предупреждение зверя, для которого чужая добыча значила

не меньше, чем собственная территория.

Зверь ударил не в неё — в тварь на её руках.

Забава почувствовала рывок, вес вдруг исчез, будто его срезали одним движением, и она повалилась вбок, в снег, хватая ртом воздух, которого, казалось, только что не было вовсе. Рядом, там, где секунду назад лежало дитя, катался клубок из меха, когтей и того, что перестало быть похожим даже на пародию младенца — теперь это была серая, склизкая масса со слишком длинными, слишком многими конечностями, визжащая не по-детски, а тонко, зло, разочарованно.

Варвара

Волчица — крупная, с жёлтыми, неправильными для зверя глазами — рвала её без остатка ярости, без раздумий, с той деловитой методичностью, с какой хозяйка режет курицу к столу.

Забава лежала в снегу там, куда её отбросило, хватая ртом воздух, которого лёгкие требовали с почти болезненной жадностью после долгих мгновений удушающей тяжести, и смотрела на разворачивающуюся перед ней сцену с тем отстранённым, замедленным вниманием, что приходит только после слишком долгого, слишком концентрированного ужаса, — будто разум, исчерпав все доступные ресурсы страха, временно переключился на простое, безучастное наблюдение.

Тварь под клыками волчицы уже почти перестала быть похожей на что-либо конкретное — серая, склизкая масса, из которой то и дело высывались то слишком длинные пальцы, то нечто похожее на щупальце, то оскаленная, совсем не детская пасть, полная мелких, острых зубов. Она визжала — не по-человечески, тонко и зло, с той интонацией, что выдаёт не боль, а именно разочарование, будто добыча, столь тщательно заманенная, ускользнула в последний момент по причинам, которые тварь не успела до конца осмыслить.

Через несколько мгновений всё закончилось. Тварь пере-

стала визжать. Снег там, где она лежала, почернел и начал подтаивать, будто под ним что-то гнило уже очень давно, источая тот самый сладковатый, тревожный запах, что Забава впервые уловила ещё в коридоре обители, идя навстречу ритуалу.

Волчица подняла морду и посмотрела на Забаву.

Не зарычала. Просто смотрела — долго, оценивающе, будто решала, стоит ли Забава того, чтобы её вообще замечать после того, что уже сделано, — и в этом взгляде, желтоватом, нечеловеческом, но при этом обладающем той особой, тяжёлой разумностью, что редко встретишь у обычных зверей, Забава на мгновение почувствовала себя не спасённой жертвой, а просто ещё одним фактом, который предстояло оценить и, возможно, устранить, если он окажется неудобным.

Потом контур зверя стал зыбким, потёк, будто снег плавился прямо в воздухе, — граница между мехом и кожей, между четырьмя лапами и двумя ногами смазалась настолько, что Забава, несмотря на всё пережитое этой ночью, не смогла удержаться от изумлённого, судорожного вдоха, — и через несколько ударов сердца на его месте стояла женщина: резкие, немного звериные черты лица, светлые, чуть жёлтые в сумерках глаза, та же хищная настороженность в позе, что мгновение назад читалась в напряжённых мышцах волчьего тела.

— Ты пахнешь железом, страхом и чем-то, что горело совсем недавно, — сказала она. Голос был низким, без тени

сочувствия, будто произносился не для утешения, а для простой констатации фактов, которые следовало учесть, прежде чем решать, что делать дальше. — И ты взяла на руки навку. Либо ты редкостно глупа, либо тебе некому было объяснить, чем это кончается.

— Второе, — прохрипела Забава, всё ещё лёжа в снегу, не находя сил подняться. — Определённо второе.

Осторожно, — тихо предупредил Сирин внутри, голос его дрожал остатками недавнего страха, ещё не до конца улёгшегося. Она не спасала тебя. Она убивала то, что перешло не её землю. Ты просто оказалась рядом.

Женщина словно услышала — или просто прочла это по лицу Забавы, потому что усмехнулась, коротко и без тепла, той усмешкой, что скорее констатирует факт, чем выражает веселье.

— Не обманывайся. Я здесь не ради тебя. Твари вроде этой не рождаются сами — их сеют туда, где земля уже слишком слаба, чтобы сопротивляться. А слабой она стала сегодня ночью, и слабость эта пришла с той стороны, — она мотнула подбородком в сторону далёкого зарева над деревьями, там, где всё ещё, хотя и заметно потускневшее, светилось разрушенное святилище, — где горит обитель волхвов.

Забава наконец села, всё ещё дрожа — от холода, от того, что случилось, от того, что чуть не случилось, — и только теперь позволила себе по-настоящему разглядеть женщину перед собой: невысокую, жилистую, одетую не по-крестьян-

ски, скорее по-охотничьи, с ножом на поясе и тем особым, неуловимым достоинством в осанке, что редко встречается у случайных путников.

— Ты знаешь, кто я?

— Знаю, что от тебя пахнет местом, куда я не хожу без крайней нужды. И знаю, что за такими, как ты, обычно тянется хвост из чужих бед.

— Тогда, может, лучше было бы пройти мимо, — сказала Забава, и в голосе её, вопреки усталости, прорезалась та самая, знакомая ей самой колкость, что редко покидала её надолго, даже посреди снега, даже посреди чужой настороженности. — Раз хвост из бед так тебе мешает.

Женщина посмотрела на неё — на этот раз дольше, будто пересматривая первое суждение, будто дерзость, прозвучавшая в ответ на явную угрозу, оказалась чем-то, чего она не ожидала встретить в измученной, едва живой девчонке, только что чудом избежавшей навку.

— Дерзкая, — заметила она без особой похвалы, но и без осуждения, скорее как отмечают факт о погоде. — Обычно люди, которых только что вытащили из-под навки, благодарят или молчат. Ты — язвись.

— У меня было не так много вариантов реакций за последние три месяца, — ответила Забава. — Язвить оказался самым дешёвым.

Что-то в лице женщины дрогнуло — не улыбка, ещё далеко не улыбка, но нечто похожее на первую трещину в сте-

не, возведённой задолго до этой встречи, будто ответ Забавы задел в ней что-то, о чём она сама не подозревала до этой минуты.

— Варвара, — сказала она наконец, будто нехотя роняя собственное имя, как роняют монету, которую предпочли бы придержать. — Раз уж ты не удержалась от языка, могла бы для приличия спросить, а не гадать.

— Забава, — ответила она, не дожидаясь просьбы. — Хотя ты уже сказала, что имя тебе без надобности.

— Без надобности твоё, — уточнила Варвара. — Своё я назвала сама, по собственной воле. Разница не в имени, а в том, кто решает, когда его произносить.

Забава промолчала — не потому что не нашла ответа, а потому что этот ответ, произнесённый так спокойно, так по-хозяйски, вдруг показался ей чем-то, о чём стоит подумать дольше, чем позволяло время на снегу, окоченевшем и без того слишком долго терпевшем её собственную неподвижность.

Варвара шагнула ближе, протянула руку — не с теплом, скорее с той же деловитостью, с какой недавно рвала навку. — Идти можешь?

— Придётся.

— Тогда идём. Здесь недалеко корчма — не приют, но крыша и очаг найдутся, если хозяин ещё не сбежал от волхвов. А мне всё равно в ту сторону: люди, за которыми я слежу, перешли межевой камень час назад, и мне нужно понять,

что они забыли на моей земле раньше, чем это пойму не я одна.

Забава поднялась, опираясь на протянутую руку — холодную, сухую, твёрдую, как ветка зимнего дерева, — и отряхнула снег с колен, чувствуя, как всё тело отзывается новой волной боли, стоило только прекратить лежать неподвижно.

— Значит, идём молча? — уточнила она, уже зная ответ, но не удержавшись спросить.

— Идём быстро, — поправила Варвара, уже разворачиваясь в сторону леса. — У леса не бывает лишнего времени на пустые разговоры, даже если ты, кажется, придерживаешься другого мнения.

Забава пошла следом — молча, как было велено, чувствуя, как Око в зажатом кулаке пульсирует слабым, почти успокаивающим теплом, будто довольное тем, что пережило эту ночь вместе с ней.

Хотя бы одна из нас довольна, — подумала она, и мысль эта, вопреки всему, почти рассмешила.

Дорога вдвоём

Варвара шла впереди, задавая темп, который девчонка позади едва выдерживала, — и именно поэтому держала его нарочно чуть быстрее, чем позволяла обычная вежливость: усталость лжёт хуже правды, а Варвара за годы патрулирования этих земель выучила, что лучший способ понять, с кем имеешь дело, — посмотреть, как человек держится, когда ему уже нечем держаться.

Девчонка держалась. Спотыкалась, да — раз, другой, третий, — но не падала, а если и падала, поднималась сама, без просьб о помощи, без того жалобного, требовательного нытья, которое Варвара привыкла ожидать от людей, оказавшихся слишком далеко от собственного порога. Это говорило о многом. Не обо всём, но о многом.

Что мы имеем, — думала она, не оборачиваясь, вслушиваясь в неровный скрип снега позади себя. Клетка — судя по запаху, что вьелся в кожу глубже одной ночи. Три месяца, если верить её же словам, брошенным вскользь, будто она не заметила, что произнесла их вслух. Волхвы, судя по обгоревшему подолу и порезу на шее, который она даже не пытается прятать. И то, чему я не могу подобрать имени, — тепло, что идёт от её сжатого кулака, и не похоже ни на один из известных мне источников силы.

Она не была наивна. Годы, проведённые на границе владе-

ний её народа, приучили её к простой истине: чужаки редко приносят с собой только себя. Обычно они тащат следом целый шлейф чужих бед, чужих врагов, чужих неоплаченных долгов, и первое правило выживания на этой земле гласило: прежде чем помогать, оцени, во что ты вмешиваешься, — потому что лес не прощает сентиментальности, а межевой камень, который она обязана охранять, не спрашивает разрешения, прежде чем впустить беду на нейтральную территорию.

И всё же она вмешалась. Не ради девчонки — по крайней мере, не только ради неё, — а потому что навка на её земле означала нечто худшее, чем случайного беглеца: означала, что где-то поблизости уже началось то самое разрушение равновесия, за которым она была обязана следить в первую очередь, задолго до того, как это стало личным делом чести, а не просто долгом крови.

— Ты давно бежишь? — спросила она, не оборачиваясь, отчасти чтобы проверить, хватит ли у беглянки дыхания на разговор, отчасти чтобы заполнить тишину чем-то более полезным, чем скрип снега и далёкое, затихающее зарево за спиной.

— С сегодняшней ночи, — донёсся сзади хриплый, но твёрдый голос. — А в клетке была три месяца до этого. Раз уж ты считаешь нужным знать подробности.

— Не подробности, — уточнила Варвара. — Направление. Три месяца в клетке волхвов и одна ночь бегства — это

не то же самое, что три месяца бегства без остановки. У первого обычно есть цель. У второго — только паника.

— А у меня что?

Варвара позволила себе короткую, почти незаметную усмешку — не столько ответ на вопрос, сколько признание того, что вопрос был задан правильно, с тем же самым язвительным, но не глупым любопытством, что уже однажды застало её врасплох на снегу возле навки.

— Пока не знаю, — сказала она честно. — Узнаю, когда увижу, куда ты пойдёшь, когда у тебя появится выбор. Люди редко лгут ногами так же складно, как лгут языком.

Она вела Забаву не самым коротким путём — привычка, тоже давно въевшаяся: короткие тропы легче отследить, а после сегодняшней ночи, судя по зареву над обителью, у девчонки за спиной наверняка уже кто-то шёл, и Варваре вовсе не улыбалось привести погоню напрямиком к корчме, где хозяин, старый и без того запуганный близостью волхвов, меньше всего нуждался в новых неприятностях под собственной крышей.

Межевой камень она не заметила, — отметила Варвара про себя, оглянувшись на едва различимый в темноте валун, оставшийся позади. Хорошо. Значит, не знает границ моей земли, а если не знает, то и не станет по глупости их проверять. Одной причиной для беспокойства меньше.

Она думала о людях, чей след привёл её сюда этим вечером, — не о девчонке, а о четверых, чьи следы она замети-

ла у межевого камня ещё до всей этой суматохи с навкой: путники, судя по походке, не местные, направлявшиеся, насколько она могла судить по глубине и направлению следов, к той же самой корчме, куда она сейчас вела свою неожиданную спутницу. Совпадение не тревожило её саму по себе — дорог здесь было немного, и корчма оставалась единственным разумным укрытием на много вёрст вокруг, — но опыт подсказывал: в ночь, когда горит обитель волхвов и по лесу бродят навки, а не сталкивающиеся друг с другом обычно судьбы вдруг сходятся в одной точке, разумнее считать это не совпадением, а предупреждением.

— Ты не спрашиваешь, что я такое, — заметила Забава позади, чуть отдышавшись, голос её звучал ровнее, чем несколько минут назад, будто разговор сам по себе давал ей ту опору, которой не могли дать гудящие от усталости ноги.

— Спрошу, когда придёт время, — ответила Варвара, не сбавляя шага. — Пока мне достаточно знать, что за тобой тянется беда, а беда эта ещё не догнала нас настолько, чтобы решать всё прямо здесь, на морозе.

— А если догонит?

Варвара на мгновение обернулась — впервые за всю дорогу, — и посмотрела на девчонку тем же оценивающим, немного звериным взглядом, каким смотрела на неё ещё будучи волчицей.

— Тогда узнаем, кто из нас двоих окажется полезнее в драке, — сказала она без тени шутки в голосе. — А до тех

пор — иди быстрее. Ноги у тебя, конечно, упрямые, но корчма не приблизится сама по себе от одной твоей решимости.

Она снова отвернулась и зашагала дальше, слушая, как позади Забава, тяжело выдохнув, всё же прибавляет шаг, — и позволила себе на мгновение задуматься о том, что вело её самой этой ночью не только чувство долга к межевому камню, но и что-то ещё, куда менее ясно определимое: любопытство, которое она давно считала роскошью, недоступной человеку её ремесла, но которое, вопреки собственным правилам, всё же шевельнулось при виде дерзкой, полуживой от холода девчонки, не желающей ни благодарить, ни молчать так, как полагалось бы благодарной спасённой жертве.

Посмотрим, куда ты пойдёшь, — подумала она снова, уже без прежней настороженности, скорее с тем терпеливым, выжидающим интересом, с каким наблюдают за развитием событий, чей исход ещё не предрешён. *А там решу, стоит ли моё любопытство тех бед, что явно идут за тобой следом.*

Сигнал

Лютобор увидел дым раньше, чем гонец успел добежать до места, где он ждал со своими четырьмя людьми у кромки леса, — редкую, но безошибочную полосу серого над кронами Чернолесья, там, где ей полагалось быть только после заката, если ритуал пройдёт так, как задумывался.

Он стоял неподвижно, наблюдая за этой полосой дольше, чем требовалось для простой констатации факта, — не потому что нуждался в дополнительном подтверждении очевидного, а потому что эти несколько мгновений тишины перед неизбежным действием были единственной роскошью, которую он ещё мог себе позволить, прежде чем всё вокруг снова придёт в движение и не оставит времени на раздумья.

— Воевода! — гонец, один из младших слугителей, спотыкаясь, вылетел из-за деревьев, задыхаясь так, что первые несколько слов прозвучали неразборчиво. — Обитель... пожар... она вырвалась...

Лютобор не переспросил. Не было нужды — дым уже сказал всё, что требовалось знать, а остальное было лишь подтверждением того, что он, вопреки собственному расчёту, ожидал с той минуты, как Кручин впервые заговорил о запасном плане.

— Куда она пошла? — спросил он, уже разворачиваясь к своим людям коротким, не терпящим промедления жестом.

— Не знаю, воевода. Всё горело, все бежали...

— Разумеется, — сказал Лютобор без особой злости — скорее с той усталой констатацией, с какой отмечают факт, давно вписанный в собственные расчёты. — Дальше можешь не продолжать. Возвращайся, помоги тушить, если ещё есть что тушить.

Гонец, явно ожидавший другой реакции — крика, немедленных распоряжений, хоть какого-то видимого потрясения, — замешкался на месте, не понимая, отпущен он или нет, и Лютобор, заметив эту растерянность, испытал короткий, почти безгливый укол раздражения: не на самого гонца, а на ту часть мира, что до сих пор ожидала от него удивления там, где давно следовало ожидать только методичной, отработанной готовности к худшему.

— Ступай, — коротко повторил он, и этого хватило.

Хмурый, стоявший ближе прочих, посмотрел на него с тем же вопросом, который читался во взгляде гонца мгновением раньше, — но в отличие от младшего служителя, Хмурый умел держать этот вопрос при себе достаточно долго, чтобы дожидаться подходящего момента.

— Не удивлён, воевода?

— Удивлён был бы, если бы всё прошло гладко, — ответил Лютобор, уже проверяя ремни на своих ножнах тем привычным, машинальным движением, каким проверяют снаряжение перед тем, что обещает быть долгим. — Кручин сам сказал: чистых ритуалов в его жизни было два. Сегодняшний

не должен был стать третьим — и не стал. Хоть в этом не разочарован.

Хмурый неопределённо хмыкнул — звук, служивший у него универсальным ответом на добрую половину происходящего в мире, будь то одобрение, сомнение или простая констатация того, что мир снова повёл себя ровно так, как от него и следовало ожидать. Лицо его, с той самой кривой складкой у рта, придававшей ему вечно раздражённый вид, не изменилось ни на волос, но Лютобор, знавший его достаточно давно, чтобы читать эти едва уловимые нюансы, различил под привычной невозмутимостью что-то похожее на собранность, столь же острую, как и его собственная.

— Куда идём, если неизвестно, куда она пошла?

Лютобор на мгновение замер, глядя в сторону дыма, потом медленно перевёл взгляд туда, где деревья Чернолесья смыкались особенно плотно, в сторону, противоположную открытому тракту.

— Она не пойдёт к тракту, — сказал он с той уверенностью, что рождается не из знания, а из многолетней привычки предугадывать чужой страх по собственному опыту. — Открытый путь — это стража, это люди, это то, чего боится любой, кто бежит из клетки в первый раз. Она пойдёт туда, где темнее. Туда, где кажется безопаснее, хотя на деле не безопаснее нигде.

— В лес, — заключил Хмурый.

— В лес, — подтвердил Лютобор. — И если она достаточ-

но умна, чтобы выжить в клетке три месяца, не сломавшись до конца, — а судя по тому, что мы видим, она умна, — рано или поздно она выйдет к жилью. Люди, даже беглые, редко способны выдержать больше суток без крыши над головой в такой мороз.

Он повернулся к своим людям — всем четверым разом, тем же коротким, оценивающим взглядом, каким провожал их утром на хозяйственном дворе, и на мгновение позволил себе задержаться взглядом на самом молодом из четвёрки — том, что несколько часов назад робко спрашивал о ярости двоедушницы. Юноша держался напряжённо, но собранно, и Лютобор мысленно отметил это с тем же холодным удовлетворением, с каким отмечал любую деталь, подтверждающую правильность собственного выбора людей.

— Ближайшее жильё в той стороне — корчма на старом торговом изводе, — продолжил он. — Хозяин знает нас, знает цену молчания и знает цену длинного языка. Туда и направимся — не потому что уверены, а потому что это единственная разумная ставка из всех, что у нас есть.

Хмурый коротко кивнул, но не удержался от последнего вопроса, того самого, что явно тревожил его с той минуты, как дым показался над кронами:

— А если она успеет уйти дальше, прежде чем мы доберёмся?

Лютобор молчал несколько мгновений дольше, чем требовал простой вопрос, и в этой паузе — незаметной для

остальных, но не для Хмурого, знавшего его достаточно долго, чтобы улавливать подобные вещи, — промелькнуло что-то, чему сам Лютобор не позволил бы дать название вслух: короткая, почти неощутимая тень того же самого чувства, что сжимало ему грудь всякий раз, когда он позволял себе вспомнить полсотни людей, ушедших с ним на лёд, и одного, вернувшегося назад.

— Тогда, — сказал он, уже направляясь в сторону леса тем ровным, неспешным шагом, что скрывал куда больше решимости, чем позволял видеть со стороны, — мы будем искать дольше. Но искать не перестанем. Я обещал Кручину, что не подведу. — Он помолчал мгновение, и в этой паузе Забава, будь она способна её услышать, различила бы то самое едва заметное дрожание, что впервые тронуло его голос ещё в разговоре со старшим волхвом. — А ещё важнее — я обещал это себе.

Хмурый, шагавший чуть позади, не стал развивать эту тему дальше — не потому что не заметил тяжести в последних словах воеводы, а потому что годы совместной службы научили его точно определять момент, когда дальнейшие вопросы приносят больше вреда, чем пользы.

— Как в старые времена, — заметил он вместо этого, но на этот раз без прежней тени вопроса в голосе — просто утверждение, брошенное как якорь в разговоре, начавшем крепиться в сторону слишком личного.

— Хуже, — коротко ответил Лютобор, не оборачиваясь.

— В старые времена я хотя бы знал, с чем имею дело.

Позади них, над кронами Чернолесья, дым над обителью начал редеть, растворяясь в сером, безрадостном небе, будто и он, исполнив свою единственную задачу — предупредить, — не видел больше смысла задерживаться дольше необходимого.

Что осталось позади

Первуша и Ставр остановились на опушке — той самой, где Чернолесье редело, открывая взгляду простор мёртвых, заснеженных полей, тянущихся к горизонту рваными, бледными лоскутами, — и оба, не сговариваясь, обернулись назад, туда, где над кронами деревьев всё ещё курился дым, уже не такой густой, как час назад, но всё ещё заметный на фоне неизменно багрового, безучастного неба.

— Далеко ушли? — спросил Ставр, тяжело дыша, — они шли почти без остановки с того момента, как выбрались из горящей обители, петляя случайными, полужаметёнными тропами, лишь бы оказаться как можно дальше от места, где ещё несколько часов назад оба искренне верили, что служат чему-то правильному.

— Не знаю, — честно ответил Первуша, тоже переводя дыхание, опираясь ладонью о ближайший ствол. — Достаточно, чтобы больше не слышать криков. Недостаточно, чтобы забыть, что мы их слышали.

Ставр промолчал, продолжая смотреть на далёкий дым, и в этом молчании Первуша разглядел то же самое, что мучило его собственные мысли всю дорогу: не столько страх перед погоней, сколько растерянность человека, впервые за много лет оказавшегося без чёткого указания, что делать дальше, — без учителя, без ритуала, без привычной, пусть и мучи-

тельной, структуры, определявшей каждый его день на протяжении трёх лет.

— Куда теперь? — спросил наконец Ставр, и в вопросе его звучала не столько потребность в практическом ответе, сколько нечто более глубокое: мольба о том, чтобы хоть кто-то, пусть даже такой же растерянный товарищ, взял на себя бремя решения, которое Ставр сам был не готов принять в одиночку.

Первуша долго молчал, глядя на простор, открывшийся перед ними, — на тот самый мир за пределами обители, о котором он за три года службы успел позабыть почти всё, кроме смутных, полудетских воспоминаний о родной деревне, оставшейся где-то далеко к югу отсюда.

— Не в деревню, — сказал он наконец, отвечая скорее собственным мыслям, чем прямому вопросу Ставра. — Если Кручин станет искать беглецов, первым делом проверит родню. Моя мать... — он запнулся, впервые за этот разговор позволив себе голос, лишённый привычной твёрдости. — Не хочу, чтобы она расплачивалась за мой выбор.

— Тогда куда?

— Не знаю, — повторил Первуша, и на этот раз в его голосе звучало не смирение, а нечто похожее на зарождающуюся, пусть и хрупкую решимость. — Но подальше отсюда. Может, в Светлоград — там, говорят, хватает людей, которым всё равно, кем ты был раньше, если у тебя есть пара рабочих рук и готовность молчать о прошлом.

Ставр посмотрел на него долгим, изучающим взглядом — тем самым, каким несколько часов назад смотрел на дым над святилищем, — и, наконец, медленно кивнул, будто это решение, произнесённое вслух другим человеком, оказалось единственным, чего ему не хватало, чтобы принять его как своё собственное.

— Светлоград, — повторил он тихо. — Далеко.

— Дальше, чем то, что мы оставили позади, — сказал Первуша. — Хотя не уверен, что расстояние вообще что-то значит после сегодняшней ночи.

Они постояли ещё немного, глядя на дым, медленно тающий над лесом, — два бывших служителя обители, ещё вчера убеждённых, что их жизнь предопределена служением, которому не полагается сомневаться, а сегодня стоящих на границе между всем, что они знали, и всем, чего не знали вовсе.

— Первуша, — снова заговорил Ставр, уже другим тоном, менее уверенным. — Тот крик... то, что она сделала... Как думаешь, она вообще человек?

Первуша долго не отвечал, вспоминая — не сам крик даже, а то короткое, почти неуловимое мгновение, когда, оглушённый и растерянный, он успел заметить лицо девчонки в дыму: не торжествующее, не злорадное, а полное того же самого ужаса, что владел и им самим, будто она сама не до конца понимала, что творит собственным голосом.

— Не знаю, — сказал он наконец. — Но что бы она ни

была, она не хотела нам зла. Волхвы хотели её крови три раза до этого. Она просто... ответила. — Он покачал головой, будто сама мысль требовала физического усилия, чтобы её удержать. — Может, единственные, кто в этой истории действительно виноват, — это мы. Те, кто годами делал вид, что не слышит крика из-за её двери, потому что учитель сказал, что так надо.

Ставр не нашёлся с ответом — да Первуша и не ждал его, потому что задал этот вопрос не столько товарищу, сколько самому себе, впервые за три года позволив мысли, давно тлевшей где-то на самом краю сознания, обрести форму, которую уже нельзя было бы игнорировать, вернувшись однажды обратно в привычную колею послушания.

— Идём, — сказал он наконец, отворачиваясь от дыма и делая первый шаг в сторону открытого, промёрзшего простора полей, туда, где начиналась дорога, ведущая на юг, к Светлограду, к жизни, о форме которой он пока не имел ни малейшего представления. — Чем дольше мы стоим, глядя назад, тем больше риска, что кто-то оттуда решит посмотреть в нашу сторону.

Ставр коротко кивнул и пошёл следом, и оба зашагали прочь от Чернолесья, туда, где мёртвые поля тянулись до самого горизонта под тем же самым, неизменно багровым небом, — два человека, чья история, начавшаяся в стенах обители, отныне продолжалась там, куда ни один из них прежде не заглядывал дальше пределов собственного послу-

шания.

Позади них, там, где лес смыкался плотной, тёмной стеной, дым над Чернолесьем наконец истончился до едва заметной полосы, растворяясь в вечном, безучастном багрянце неба, — том же самом небе, под которым этой ночью разошлись сразу несколько дорог: одна вела в лес, к корчме и той, кого теперь искали сразу двое; другая — прочь от всего, что было домом три долгих года; и третья, куда более тёмная, вела назад, туда, где старик с сухим голосом и блеском подо льдом в глазах уже отступил в тень, ожидая часа, когда его собственная роль в этой ночи станет наконец ясна не только ему одному.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.